Эдгар Аллан По



Убийство на улице Морг

МИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Иллюстрации
Артура Рэккема,
Гарри Кларка
и Густава Уидни

Убийство на улице Морг. Мистические рассказы

Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Мистические рассказы
Убийство на улице Морг
Тайна Мари Роже (Продолжение «Убийства на улице Морг»)
Золотой жук
Рукопись, найденная в бутылке
Маска красной смерти
Колодец и маятник
Падение дома Эшеров
Преждевременное погребение
Сердце-обличитель
Лигейя
Морелла
Бочка Амонтильядо
Вильям Вильсон
Лягушонок

Аннотация

Наполненные загадками и мистикой новеллы Эдгара Аллана По послужили основой для развития двух популярнейших жанров: классического детектива и психологической прозы. В книгу вошли 14 рассказов, в том числе «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Золотой жук» и другие. Чёрно-белые иллюстрации в стиле модерн.

Эдгар Аллан По
Убийство на улице Морг. Мистические рассказы

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Убийство на улице Морг

Какую песню пели Сирены или какое имя носил Ахиллес, в то время как скрывался среди женщин, – вопросы, конечно, любопытные, но совершенно неразрешимые.

Сэр Томас Браун

Так называемые аналитические способности ума почти не доступны анализу. Мы знаем только их проявления. Мы знаем также, что они являются источником живейших наслаждений для того, кто обладает ими в более чем обыкновенной степени. Как сильный физически человек радуется своей силе, прилагая её к мускульным упражнениям, так аналитический ум торжествует, предаваясь распутывающей деятельности. Он охотно берётся за самые тривиальные занятия, если только они дают ему возможность приложить к делу свои способности. Он радуется всяким загадкам, загвоздкам, иероглифам, обнаруживая при разъяснении их остроумие, которое простым смертным кажется сверхъестественным. Результаты его, вытекающие из методического и обдуманного исследования, кажутся плодом

вдохновения.

Способность к распутыванию загадок, вероятно, усиливается изучением математики, в особенности её высшего отдела, несправедливо называемого анализом, как бы par excellence[1]. Но соображать не значит анализировать. Шахматный игрок, например, соображает, не прибегая к анализу. Отсюда следует, что характер шахматной игры, в смысле упражнения ума, понимается совершенно превратно. Я не намерен писать трактат на эту тему, я просто хочу высказать несколько замечаний, скорее догадок, в виде предисловия к нижеследующему рассказу. Итак, я утверждаю, что высшие способности мышления более связаны с простой игрой в шашки, чем с затейливыми тонкостями шахмат. В этой последней игре, где фигуры имеют различные и причудливые ходы и представляют разную степень силы, сложность принимается за глубину (ошибка довольно обыкновенная). Здесь требуется главным образом внимание. Ослабей оно хоть на минуту — упущение сделано, и вся игра расстроена или пропала. А возможность ходов не только разнообразных, но и в обратном направ-

---

[1] Примечания: 1
Преимущественно *(франц.)*.

лении, усиливает шансы на подобное упущение, так что в девяти случаях из десяти выиграет самый сосредоточенный, а не самый остроумный из игроков. Напротив, в шашках, где в сущности только один ход, который варьирует очень мало, вероятность прозевать незначительна, особенного внимания не требуется, и победа зависит единственно от проницательности. Чтобы пояснить это конкретным примером, представим себе партию в шашки, в которой остались только четыре дамки, и, следовательно, рассеянность ни при чём. Очевидно, здесь победа зависит (при равенстве игроков) от какого-нибудь особенного recherche[2], движения, результата сильного напряжения мысли. Лишённый обычных ресурсов аналитик проникает в душу противника, отождествляется с нею и нередко сразу видит тот единственный способ (иногда до нелепости простой), с помощью которого можно вовлечь его в ошибку или ускорить неверный расчёт.

Вист издавна считается игрой, требующей значительной силы соображения; гениальнейшие люди нередко предавались ему с увлечением, тогда как к шахматам относились пренебрежи-

---

[2] Примечания: 2
Поиска *(франц.)*.

тельно. Без сомнения, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Первый в мире шахматист может быть только шахматистом; но уменье играть в вист свидетельствует о способности ко всяким другим, более важным предприятиям, в которых ум борется с умом. Говоря «уменье», я подразумеваю то мастерство игры, при котором пользуются всеми законными средствами, дающими перевес игроку. Они не только многочисленны, но и многообразны, и часто заключаются в таких тонких психологических комбинациях, которые недоступны обыкновенному пониманию. Внимательно наблюдать — значит ясно помнить: в этом отношении внимательный игрок в шахматы будет хорошо играть в вист, так как правила игры, основанные на изучении её механизма, понятны и общедоступны. Но искусство аналитика проявляется в таких вещах, которые не подчиняются правилам. Он делает тихомолком массу наблюдений и заметок. Так же, быть может, поступают и его товарищи; но различие в ценности добытого таким образом материала зависит не столько от наблюдаемого объекта, сколько от качества наблюдения. Необходимо знать, что следует наблюдать. Наш игрок не сосредоточивается на чём-либо одном;

не ограничивается непосредственным объектом — игрою, а извлекает указания и из других источников. Он наблюдает приёмы своего партнёра, сравнивая их с приёмами противников. Он замечает, как кто держит и подбирает карты; и часто угадывает онёры[3] или козыри на руках соседа, по взглядам, которые тот бросает на свои карты. Он следит за игрой физиономий во время игры и находит богатый материал для выводов в выражениях уверенности, удивления, торжества или досады. По манере брать взятку он заключает, есть ли на руках другая. По манере бросать карту догадывается об умышленно неправильном ходе. Случайное или неосторожное слово; случайно упавшая или отвернувшаяся карта и выражение беспокойства или равнодушия, с которым её прячут; счёт взяток и порядок их размещения; нерешительность, колебание, поспешность или робость — всё даёт ему точные указания на положение игры, хотя с виду кажется, будто он действует по вдохновению. После двух-трёх сдач он уже знает карты в каждой руке и ходит наверняка, как будто бы карты соседей были открыты.

Аналитическую способность не следует смеши-

---

[3] Примечания: 3

Онёр — старшая козырная карта.

вать с простой изобретательностью, так как аналитик всегда изобретателен, а изобретательный человек часто совершенно неспособен к анализу. Творческая или комбинирующая способность, в которой проявляется обыкновенно изобретательность и для которой френологи[4] (я думаю, ошибочно) указывают особый орган, считая её первичной способностью, так часто проявляется у людей, которые в других отношениях приближаются к идиотизму, что это обстоятельство давно уже обратило на себя внимание писателей и философов. Различие между изобретательностью и аналитической способностью гораздо больше, чем между фантастичностью и воображением, но такого же рода. Изобретательные люди всегда фантазёры, а истинное воображение всегда свойственно аналитическим умам.

Нижеследующий рассказ послужит читателю как бы комментарием к вышеизложенным соображениям.

Проживая в Париже весною и летом 18..., я познакомился с г. Огюстом Дюпеном. Это был молодой человек хорошей, даже знатной фамилии, но сцепление обстоятельств довело его до

[4] Примечания: 4

Френолог — последователь френологии, учения о связи характера человека со строением его черепа.

крайней нищеты, сломившей его энергию, так что он покорился судьбе и перестал добиваться положения и богатства. Благодаря любезности кредиторов, у него остались кое-какие крохи наследственного состояния; на них он и жил, удовлетворяя самым необходимым потребностям с помощью строгой экономии и не заботясь об излишествах. Единственная роскошь, которую он позволял себе, были книги, но в Париже это обходится недорого.

В первый раз мы встретились в одной маленькой библиотеке на Монмартре. Оказалось, что мы оба разыскивали одну и ту же весьма редкую и замечательную книгу; это обстоятельство и сблизило нас. Мы стали встречаться всё чаще и чаще. Меня крайне заинтересовала его семейная история, которую он рассказал мне с чисто французской откровенностью. Я поражался также его начитанностью, а главное, его причудливое, пылкое, живое воображение воспламеняло и меня. Ввиду цели моего тогдашнего пребывания в Париже, общество такого человека являлось для меня бесценной находкой, и я откровенно сообщил ему об этом. В конце концов мы решили поселиться вместе, и так как мои денежные обстоятельства были в несколько лучшем

состоянии, чем его, то он согласился, чтобы я нанял и меблировал в фантастическом стиле, соответствовавшем нашим характерам, курьёзный ветхий домишко, разрушавшийся в глухом уголку Сен-Жерменского предместья и давно оставленный жильцами из-за каких-то суеверий, о которых мы не заботились.

Если бы посторонние знали о нашем образе жизни в этом домике, мы, без сомнения, прослыли бы сумасшедшими — хотя, быть может, безвредными. Мы жили отшельниками. Посетители к нам не заглядывали. Я не сообщал никому из своих прежних знакомых адрес нашего жилища, а Дюпен давно уже раззнакомился со всеми. Мы удовлетворялись собственным обществом.

Одной из причуд моего друга (ибо как же иначе это назвать?) было пристрастие к ночи, к темноте; я тоже поддался этой bizarrerie[5], как и другим его фантазиям. Печальная богиня не всегда была с нами, но мы умели подделать её присутствие. При первых лучах рассвета мы запирали массивные ставни нашего старого дома и зажигали пару восковых свечей, которые, распространяя сильное благоухание, озаряли комнату бледным,

---

[5] Примечания: 5
Странность *(франц.)*.

зловещим светом. При этом освещении мы предавались мечтам, читали, писали, беседовали, пока часы не возвещали нам о наступлении настоящей ночи. Тогда мы выходили из дома и гуляли по улицам, рука об руку, продолжая нашу беседу, или бродили до позднего часа, находя среди света и теней многолюдного города материал для бесконечных наблюдений и размышлений.

Во время этих прогулок я не мог не заметить и не подивиться (хотя глубокий идеализм моего друга заставлял ожидать этого) замечательным аналитическим способностям Дюпена. По-видимому, ему самому доставляло большое удовольствие применять их к делу — а может быть, и обнаруживать перед другими, — в чём он и признавался откровенно. Он хвастался мне, слегка подсмеиваясь, будто для него открыты сердца почти всех людей, — и подтверждал это на деле поразительными доказательствами, обнаруживавшими глубокое знание моего сердца. В такие минуты он был холоден и рассеян, глаза его блуждали, а голос — сильный тенор — становился пронзительным и показался бы крикливым, если бы не совершенная обдуманность и ясность речи. Наблюдая его в такие минуты, я часто вспоминал старинную философию о раздвоении души, и

фантазия рисовала мне двух Дюпенов: созидающего и разрушающего.

Не вздумайте заключить из моих слов, что я излагаю какую-нибудь тайну или сочиняю роман. Всё, что я рассказал об этом французе, было только результатом возбуждённого, быть может, нездорового рассудка.

Но следующий пример может дать понятие о характере его наблюдений.

Однажды ночью мы шли по длинной грязной улице близь Пале-Рояля. Каждый из нас был занят своими мыслями, и в течение по крайней мере четверти часа мы не обменялись ни словечком. Вдруг Дюпен прервал молчание:

— Действительно, он совсем карлик и больше бы годился для Théâtre des Variétés[6].

— Без сомнения, — отвечал я машинально, не заметив в эту минуту (до того я был поглощён своими размышлениями), как странно слова Дюпена согласовались с моими мыслями. Но в ту же минуту я опомнился, и изумлению моему не было границ.

— Дюпен, — сказал я серьёзным тоном, — это выше моего понимания. Не стану и говорить, как

---

[6] Примечания: 6
Театр Варьете *(франц.)*.

я изумлён: едва верю своим ушам. Как могли вы догадаться, что я думаю о… — тут я остановился, чтобы проверить ещё раз, действительно ли он знает, о ком я думаю.

— …о Шантильи, — подхватил он, — что же вы остановились! Вы говорили самому себе, что его незначительная фигура не подходит к трагедии.

Именно это и было предметом моих размышлений. Шантильи, quondam[7] сапожник в улице Сен-Дени, увлёкся театром и, выступив в роли Ксеркса в трагедии Кребильона, был жестоко осмеян за своё исполнение.

— Объясните мне ради бога, — сказал я, — метод, если только тут может быть какой-нибудь метод, с помощью которого вы проникли в мою душу. — В действительности я был ещё сильнее поражён, чем показывал.

— Продавец фруктов, — отвечал мой друг, — привёл вас к заключению, что этот «сапожных дел мастер» недостаточно высок для Ксеркса et id genus omne[8].

— Продавец фруктов!.. вы удивляете меня!.. я не знаю никакого продавца фруктов.

---

[7] Примечания: 7
Некогда *(лат.)*.

[8] Примечания: 8
И ему подобных *(лат.)*.

— Человек, который столкнулся с вами на углу четверть часа тому назад.

Тут я припомнил, что на повороте из улицы С… меня чуть не сбил с ног торговец с корзиной яблок на голове: но я не мог понять, какое это имеет отношение к Шантильи.

В Дюпене не было и тени шарлатанства.

— Я сейчас вам объясню, — сказал он, — и чтобы вы ясно поняли меня, прослежу весь ход ваших мыслей от настоящего момента до того столкновения с продавцом яблок. Вот главные звенья цепи — Шантильи, Орион, д — р Никольс, Эпикур, стереотомия, груда булыжников, продавец яблок.

Почти всякому случалось хоть раз в жизни исследовать постепенный ход своих мыслей, приведших к известному заключению. Занятие это часто исполнено интереса; и тот, кто берётся за него в первый раз, поражается кажущимся отсутствием связи и безграничным расстоянием между исходным пунктом и заключением. Каково же было моё изумление, когда я услышал слова француза и не мог не согласиться, что он сказал совершенную правду. Он продолжал:

— Сколько помню, мы толковали о лошадях перед самым поворотом с улицы С… То была

последняя тема нашего разговора. Когда мы свернули в эту улицу, продавец фруктов с большой корзиной на голове, бежавший куда-то, толкнул вас на груду булыжников, сложенных в том месте, где чинилась мостовая. Вы наступили на камень, поскользнулись, слегка ушибли ногу, пробормотали несколько слов с сердитым или беспокойным видом, повернулись и взглянули на груду камней, — затем молча пошли дальше. Я не особенно внимательно следил за вами; но в последнее время наблюдение сделалось для меня почти необходимостью.

Вы шли, опустив глаза, сердито поглядывая на рытвины и выбоины мостовой (стало быть, думали ещё о камнях), пока мы не дошли до переулка Ламартина, вымощенного, в виде опыта, тёсаными камнями.

Тут ваше лицо просветлело, и по движению ваших губ я догадался, что вы прошептали слово «стереотомия» — термин, который почему-то применяется к этого рода мостовым. Я знал, что слово «стереотомия» должно вам напомнить об атомах и, следовательно, о теориях Эпикура; и так как в нашем последнем разговоре на эту тему я сообщил вам, как удивительно — хотя это остаётся почти не замеченным — смутные

изыскания благородного грека подтверждаются новейшей небулярной космогонией, то и мог ожидать, что вы невольно взглянете на большое туманное пятно Ориона. Вы взглянули на него; это убедило меня, что я действительно угадал ваши мысли. Но в насмешливой статье о Шантильи, во вчерашнем номере Musée, автор, издеваясь над сапожником, переменившим фамилию при поступлении на сцену, цитировал латинский стих, о котором мы часто говорили. Вот он:

Perdidit antiquum litera prima sonum[9].

Я говорил вам, что это относится к Ориону, называвшемуся раньше Урионом, и связанная с этим объяснением игра слов заставляла меня думать, что вы не забыли его. В таком случае представление об Орионе должно было соединиться у вас с представлением о Шантильи. Что такое сопоставление действительно мелькнуло у вас, я заметил по вашей улыбке. Вы задумались о фиаско бедняги сапожника. До тех пор вы шли вашей обычной походкой, теперь выпрямились. Очевидно, вы подумали о малом росте Шантильи. Тут я прервал нить ваших мыслей, заметив, что он, Шантильи, действительно карлик и был бы

---

[9] Примечания: 9

Утратила былое звучание первая буква *(лат.)*.

больше на месте в Théâtre des Variétés.

Вскоре после этого случая мы просматривали как-то вечером «Газетт де Трибюн», где прочли следующую заметку:

> «Необыкновенное убийство. Сегодня около трёх часов утра обитатели квартала Сен-Рош были разбужены страшными криками, доносившимися, по-видимому, из четвёртого этажа одного дома в улице Морг, единственными жильцами которого были некая мадам Л'Эспанэ и её дочь мадмуазель Камилла Л'Эспанэ. После неудачной попытки проникнуть в дом обычным порядком дверь была выломана и человек восемь или десять вошли в сопровождении двух жандармов.
>
> Тем временем крики прекратились, но когда толпа поднялась на первую площадку лестницы, можно было расслышать голоса ссорившихся людей, два или три, раздававшиеся из верхней части дома.
>
> Со второй площадки уже ничего не было слышно. Толпа разбрелась, осматривая комнаты. В большой комнате четвёртого

этажа (дверь которой пришлось сломать, так как ключ оказался внутри) глазам явившихся открылось зрелище, поразившее всех ужасом и изумлением.

В комнате был страшный беспорядок, мебель изломана и разбросана. Бельё и тюфяки, сброшенные с кровати, валялись на полу. На стуле лежала окровавленная бритва. В печке нашли несколько густых длинных клочьев седых человеческих волос, тоже окровавленных. На полу валялись четыре наполеондора, топазовая серёжка, три больших серебряных ложки, три поменьше из мельхиора и два мешка, в которых оказалось около четырёх тысяч франков золотом. Ящики комода и стола были выдвинуты и очевидно ограблены, хотя многие вещи остались на месте. Маленький несгораемый сундук оказался под тюфяком (не под кроватью). Он был открыт, и ключ ещё находился в замке. В нём оказалось только несколько писем и неважных бумаг.

Никаких следов госпожи Л'Эспанэ не было видно, но, заметив в камине необычайное количество сажи, жандармы

исследовали трубу и (страшно сказать!) вытащили оттуда тело дочери, засунутое туда вниз головой. Оно ещё не остыло и было покрыто ссадинами; на лице оказались глубокие царапины, на шее чёрные полосы и глубокие следы ногтей, как будто покойная была задушена.

Обыскав весь дом и не найдя ничего больше, отправились на маленький дворик позади дома и здесь нашли труп госпожи Л'Эспанэ с перерезанным почти начисто горлом, так что, когда тело подняли, голова отвалилась. Голова и тело были страшно обезображены, первая едва сохранила облик человеческий. Это ужасное происшествие остается пока совершенно неразъяснённым».


СЕГОДНЯ ОКОЛО ТРЁХ ЧАСОВ УТРА ОБИТАТЕЛИ КВАРТАЛА СЕН-РОШ БЫЛИ РАЗБУЖЕНЫ СТРАШНЫМИ КРИКАМИ...
AR

На следующий день в газете явились дополнительные сведения:

«Драма в улице Морг. Несколько лиц были подвергнуты допросу по поводу этого необычайного и страшного происшествия, но из их показаний не выяснилось ничего, что бы могло бросить свет на эту загадку. Мы сообщаем ниже сущность показаний.

Полина Дюбур, прачка, объясняет, что она знала обеих покойниц три года, стирала на них. Старая дама и её дочь были, по-видимому, в хороших отношениях – очень привязаны друг к другу. Платили они очень аккуратно. Ничего не знает об образе их жизни и средствах. Предполагает, что госпожа Л'Эспанэ была ворожеёй.

По слухам, у неё водились деньги. Никогда никого не встречала у них. Убеждена, что у них не было прислуги. Кажется, мебель имелась только в четвёртом этаже.

Пьер Моро, содержатель табачной лавочки, доставлял госпоже Л'Эспанэ нюхательный табак в течение четырёх лет. Родился в этом квартале и никогда

не покидал его. Покойница с дочерью жили в доме, где были найдены их тела, шесть лет. Раньше его занимал золотых дел мастер, сдававший верхние этажи внаймы. Дом принадлежал госпоже Л. Она отказала золотых дел мастеру и сама поселилась в доме; квартир не сдавала. Старуха впала в детство. Свидетель встречался с её дочерью пять-шесть раз за все шесть лет. Обе жили очень уединённо, по слухам, имели деньги. Слышал от соседей, будто госпожа Л. занимается гаданьем, но не верит этому. Никогда не замечал, чтобы кто-нибудь входил в дом, кроме госпожи Л. и её дочери, дворника и врача. Многие другие лица, из числа соседей, дали такие же показания. Никто из них не посещал дом. Неизвестно, были ли у госпожи Л. и её дочери какие-нибудь знакомые. Ставни в переднем фасаде редко открывались. В заднем были всегда заперты, во всех комнатах, кроме той, где совершилось убийство. Дом хороший, не очень старый.

Исидор Мюзе, жандарм, объясняет, что его позвали в дом около трёх часов утра. У

подъезда собралось человек двадцать или тридцать, старавшихся выломать дверь. Он растворил её не ломом, а штыком. Это не представило особенных затруднений, так как дверь была с двумя половинками и не заперта на задвижку ни вверху, ни внизу. Крики продолжались, пока дверь не была отворена, затем внезапно стихли. По-видимому, кричал (или кричали) кто-то в жестоких мучениях, крики были громкие и протяжные, а не короткие и отрывистые. Свидетель побежал вверх по лестнице. Достигнув первой площадки, услышал голоса ссорившихся, один грубый, другой визгливый, очень странный голос. Разобрал несколько слов, произнесенных грубым голосом на французском языке. Положительно утверждает, что это не был женский голос. Слышал слова «sacré»[10] и «diable»[11]. Визгливый голос принадлежал иностранцу. Не может сказать положительно, был ли это женский или мужской голос. Не знает, на каком

[10] Примечания: 10
Проклятье *(франц.)*.

[11] Примечания: 11
Чёрт *(франц.)*.

языке он говорил, но думает, что на испанском. Состояние комнаты и тел этот свидетель описал так же, как мы вчера.

Анри Дюваль, сосед, по ремеслу серебряник, объясняет, что он один из первых вошёл в дом. В общем подтверждает показание Мюзе. Войдя в дом, они затворили за собою дверь, чтобы удержать толпу, которая быстро собиралась, несмотря на ранний час. По мнению этого свидетеля, визгливый голос принадлежал итальянцу; во всяком случае не французу. Не может сказать с уверенностью, был ли это мужской голос. Возможно, что он принадлежал женщине. Свидетель не знает итальянского языка. Не мог разобрать отдельных слов, но убеждён по интонации, что кричавший был итальянец. Знал госпожу Л. и её дочь. Часто разговаривал с обеими. Уверен, что визгливый голос не принадлежал которой-нибудь из них.

Оденгеймер, содержатель ресторана. Этот свидетель явился к следователю по собственной инициативе. Не зная французского языка, давал показания при помощи переводчика. Проходил мимо

дома, когда раздались крики. Они продолжались несколько минут – минут десять, примерно. Крики были громкие, протяжные, выражали ужас и тоску. Вошёл в дом вместе с другими. Подтверждает прежние показания, за исключением одного пункта. Убеждён, что визгливый голос принадлежал мужчине, французу. Не мог разобрать отдельных слов. Они звучали громко, отрывисто, бессвязно, с выражением страха и гнева. Голос был резкий, не столько визгливый, сколько резкий. Нельзя назвать его визгливым голосом. Грубый голос произнёс несколько раз «sacré», «diable» и однажды «mon Dieu»[12].

Жюль Миньо, банкир фирмы «Миньо и сын» в улице Делорен. Это старший Миньо. У госпожи Л'Эспанэ было небольшое состояние. Имела текущий счёт в его конторе с весны *-го года (восемь лет тому назад). Часто вкладывала маленькими суммами. Не брала денег ни разу до последних дней: за три дня до смерти взяла

---

[12] Примечания: 12
Боже мой! *(франц.)*

четыре тысячи франков. Эта сумма была выплачена золотом и отнесена к госпоже Л. на дом приказчиком.

Адольф Лебон, приказчик «Миньо и сын», объясняет, что в вышеозначенный день он проводил госпожу Л'Эспанэ до дома и отнёс ей четыре тысячи франков в двух мешках. Дверь отворила мадмуазель Л. и взяла у него один из мешков, а её мать взяла другой. Затем он раскланялся и ушёл. Никого не заметил на улице в это время. Это переулок очень глухой.

Вильям Бирд, портной, объясняет, что он вошёл в дом вместе с другими. Он англичанин. Живёт в Париже два года. Один из первых взбежал по лестнице. Слышал голоса ссорящихся. Грубый голос, несомненно, принадлежал французу. Слышал различные слова, но не припомнит всех. Ясно слышал «sacré» и «mon Dieu». Одно время раздавались звуки как бы драки нескольких лиц – топот, борьба. Визгливый голос был очень громок, громче, чем грубый. Без сомнения, он не принадлежал англичанину. Кажется, это был голос немца. Может быть, он принад-

лежал женщине. Свидетель не понимает по-немецки.

Четверо из вышепоименованных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь комнаты, в которой находился труп мадмуазель Л., была заперта изнутри. Всё было тихо, когда свидетели добрались до этой комнаты, – ни стонов, ни шума не было слышно. Когда выломали дверь, никого не оказалось. Окна в передней и задней комнатах были заперты. Дверь между двумя комнатами была притворена, но не заперта на замок. Дверь из передней комнаты, выходящая в коридор, была заперта на замок, ключ находился на внутренней стороне. Комнатка в конце коридора в передней части дома была открыта, дверь стояла полуотворённой. Эта комната была загромождена старыми кроватями, ящиками и т. п.

Они были тщательно осмотрены и обысканы. Вообще дом был подвергнут самому тщательному обыску.

Все трубы осмотрены трубочистами. Дом четырёхэтажный с чердаком. Подъ-

ёмная дверь на крышу заколочена гвоздями, по-видимому, не открывалась много лет. Свидетели различно определяют промежуток времени между тем моментом, когда были услышаны ссорящиеся голоса, и взломом двери. Одни говорят – три минуты, другие – пять. Дверь была отворена без особенных затруднений.

Альфонсо, гробовщик, живет на улице Морг. Уроженец Испании. Вошёл в дом вместе с другими. Не входил наверх. Нервный, побоялся волнения. Слышал голоса ссорящихся. Грубый голос принадлежал французу.

Не разобрал отдельных слов. Визгливый голос – англичанина; уверен в этом. Не знает английского языка, но судит по интонации.

Альберто Монтани, кондитер, один из первых поднялся на лестницу. Слышал голоса. Грубый голос принадлежал французу. Разобрал несколько слов. Выражение их было жалобное. Не разобрал слов, произнесённых визгливым голосом. Он говорил быстро, скороговоркой. Думает, что этот голос принадлежал русскому.

Подтверждает прежние показания. Родом итальянец. Никогда не слыхал русского языка.

Различные свидетели при новом допросе показали, что трубы во всех комнатах четвёртого этажа были слишком узки, чтобы пролезть человеку. Их исследовали цилиндрическими щётками, какие употребляются трубочистами. Ни одна труба не осталась неисследованной. В доме нет чёрного хода, через который убийца мог бы убежать, пока свидетели поднимались по лестнице. Тело мадемуазель Л'Эспанэ было так плотно задвинуто в трубу, что потребовались усилия четырёх или пяти человек, чтобы её вытащить.

Поль Дюма, врач, объясняет, что его пригласили освидетельствовать тела на рассвете. Оба они лежали на холсте, на кровати, в той комнате, где был найден труп мадемуазель Л. Тело её было исковеркано и покрыто ссадинами. Это объясняется тем, что его засунули в трубу. На горле, под подбородком, оказались глубокие царапины и синие полосы – очевидно, следы пальцев. Лицо страшно

посинело, глаза выкатились, язык прокушен. Под ложечкой замечен огромный синяк, происшедший, очевидно, вследствие надавливания коленом. По мнению г. Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ задушена неизвестным лицом или лицами. Тело матери страшно изуродовано. Все кости на правой ноге и руке более или менее изломаны. Левая tibia[13] переломлена, также все рёбра на левой стороне. Всё тело усеяно синяками. Трудно решить, как произошли все эти повреждения. Тяжёлый деревянный брус или полоса железа, стул – вообще всякое тяжёлое, тупое, грузное орудие в руках очень сильного человека могло привести к таким результатам. Женщина не могла бы нанести таких ударов. Голова покойной была совершенно отделена от тела и жестоко изуродована. Горло перерезано каким-нибудь острым инструментом – вероятно, бритвой.

Александр Этьен, хирург, был приглашён освидетельствовать тела одновре-

---

[13] Примечания: 13
Берцовая кость *(лат.)*.

менно с г. Дюма. Подтверждает показание последнего.

Больше ничего сколько-нибудь важного не удалось выяснить, хотя были допрошены ещё различные лица. Такого таинственного и загадочного убийства ещё не случалось в Париже. Полиция совершенно сбита с толку.

Нет и тени намёка на разгадку этой тайны».

В вечернем издании газеты сообщалось, что в квартале Сен-Рош до сих пор царит величайшее возбуждение, что дом подвергнут вторичному обыску и свидетели передопрошены — с тем же результатом, что и раньше. В примечании сообщалось, однако, что Адольф Лебон арестован, хотя никаких данных к его обвинению, кроме вышеизложенных, нет.

По-видимому, Дюпен крайне заинтересовался этим делом; так, по крайней мере, я заключил по его поступкам, хотя он ничего не говорил. Только после известия об аресте Лебона он спросил меня, что я думаю об этом убийстве.

Я мог только присоединиться к мнению всего Парижа, что это неразрешимая тайна. Я, по край-

ней мере, не видел пути к открытию убийцы.

— Нельзя судить об этом, — возразил Дюпен, — по такому поверхностному расследованию. Французская полиция, прославленная своей проницательностью, хитра и только. В её действиях нет метода, кроме методов, принятых в данную минуту. Она пускает в ход все свои меры, но они сплошь и рядом так мало соответствуют цели, что напоминают г. Журдена, который требовал свой robe de chambre — pour mieux entendre la musique[14]. Иногда она достигает удивительных размеров, но только усердием и деятельностью.

Где этих качеств недостаточно, там все её планы лопаются. Видок, например, был хороший сыщик и настойчивый человек. Но вследствие недостатка дисциплины мысли, достигаемой образованием, он то и дело заблуждался тем сильнее, чем ретивее брался за исследование. Он плохо видел оттого, что рассматривал предмет слишком близко. Он видел два-три пункта с поразительной ясностью, но именно потому неизбежно упускал из вида целое. Вот что значит быть слишком глубокомысленным. Истина не всегда в колодце. Я думаю даже, что в более важ-

[14] Примечания: 14

«Халат, чтобы лучше слышать музыку» *(франц.)* — из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».

ных вещах она всегда на поверхности.

Истина не в долинах, где мы её ищем, а на вершинах гор, где её нужно искать. Источники этого рода ошибок обнаруживаются очень типично, при созерцании небесных тел. Если смотреть на звезду искоса — боком, обращая к ней внешнюю часть сетчатки (более чувствительную к слабым световым впечатлениям, чем внутренняя), — будешь отчетливо видеть её, получишь ясное представление о её блеске, который тускнеет по мере того, как мы обращаем взор прямо на звезду.

В последнем случае большее количество лучей падает на поверхность глаза, но в первом восприятие более отчётливо. Сама Венера угаснет на небосклоне, если мы будем смотреть на неё слишком упорно, слишком пристально, слишком прямо. Что касается этого убийства, исследуем его, прежде чем составлять о нём мнение.

Это исследование доставит нам развлечение (признаюсь, я подумал, что это термин не совсем подходящий в данном случае, однако ничего не сказал), — кроме того, Лебон оказал мне однажды услугу, за которую я бы не прочь отблагодарить его. Мы сами осмотрим дом. Я знаком с Г., префектом полиции, и он наверное не откажет мне

в письменном разрешении.

Разрешение было получено, и мы отправились на улицу Морг. Это один из самых жалких переулков между улицами Ришелье и Сен-Рош. Мы добрались до него только к вечеру, так как этот квартал находится очень далеко от того, где мы жили. Дом отыскали без труда, благодаря зевакам, которые, собравшись на противоположной стороне улицы, бесцельно глазели на окна. Это был обыкновенный парижский дом, с подъездом, сбоку которого помещалась сторожка с окошечком и надписью loge du concierge[15]. Прежде чем войти в дом, мы прошлись по улице, свернули в переулок и зашли в тыл здания. Дюпен осмотрел соседние дома так же внимательно, как этот, с непонятным для меня любопытством.

Затем мы вернулись к подъезду, позвонили и, показав полицейскому разрешение, были немедленно впущены. Мы поднялись по лестнице в комнату, где было найдено тело мадмуазель Л'Эспанэ и где до сих пор лежали оба трупа. Комната оставалась в прежнем беспорядке. Я не заметил в ней ничего нового, о чём бы не было сообщено в Газетт де Трибюн.

---

[15] Примечания: 15
Привратницкая *(франц.)*.

Дюпен тщательно осмотрел всё, не исключая трупов.

Затем мы прошлись по другим комнатам и осмотрели двор в сопровождении жандарма. Этот осмотр продолжался до наступления темноты; затем мы отправились домой.

По дороге мой спутник зашёл на минутку в редакцию одной ежедневной газеты.

Я уже говорил, что у моего друга бывали самые разнообразные причуды и что je les ménageais[16], — по-английски этой фразы не передашь. Теперь ему почему-то вздумалось отклонять всякий разговор об убийстве. Только на следующий день около полудня он неожиданно спросил меня, не заметил ли я чего-нибудь особенного в жестокости этого убийства.

Он с таким выражением произнес слово «особенного», что я вздрогнул, сам не знаю почему.

— Нет, ничего особенного, ничего кроме того, что мы прочли в газете.

— «Газетт», — возразил он, — кажется, недостаточно понимает исключительно ужасный характер этого преступления. Но оставим в стороне её банальное мнение. Я думаю, что тайна

---

[16] Примечания: 16
Я им потакал *(франц.)*.

считается неразрешимой вследствие именно той черты, которая должна облегчить её разрешение, разумею утрированный характер преступления. Полиция сбита с толку кажущимся отсутствием мотивов — не самого убийства, а жестокости убийцы. Их смущает также кажущаяся невозможность примирить два факта: свидетели слышали голоса ссорящихся, а между тем никого не нашли в комнате, кроме убитой мадмуазель Л'Эспанэ, хотя преступники не могли ускользнуть незамеченными. Дикий беспорядок в комнате, тело, засунутое вниз головой в трубу; страшно обезображенный труп старухи; всё это, как и другие обстоятельства, которых не стоит перечислять, сбило с толку власти и поставило в тупик хвалёную проницательность правительственных агентов. Они впали в грубую, но обычную ошибку, смешав необычайное с непонятным. Но именно отклонение от обычного характера подобных происшествий должно служить рассудку руководящей нитью для поисков. В исследованиях подобного рода нужно спрашивать не «что такое случилось?», а «что такое случилось, чего никогда не случалось раньше?». Лёгкость, с которою я добьюсь или добился разъяснения этой тайны, обратно пропорциональна её кажущейся нераз-

решимости в глазах полиции.

Я уставился на своего собеседника в немом изумлении.

— Я поджидаю теперь, — сказал он, взглянув на дверь нашей комнаты, — я поджидаю человека, который хоть и не сам учинил эту бойню, но причастен к ней до некоторой степени. По всей вероятности, он неповинен в худшей части этих преступлений. Я надеюсь, что моё предположение справедливо, так как на нём строю надежду на разъяснение всей этой загадки. Он должен прийти сюда, в эту комнату. Может и не явиться, конечно, но, по всей вероятности, явится. Если он придёт, необходимо будет задержать его. Вот пистолеты, а как ими распорядиться в случае надобности, мы оба знаем.

Я взял пистолеты, вряд ли сознавая, что делаю, и едва веря своим ушам, между тем как Дюпен продолжал, точно рассуждая сам с собою. Я уже упоминал о его рассеянном виде в такие минуты. Он обращался ко мне, но его голос, хотя не особенно громкий, звучал так, как будто бы он переговаривался с кем-нибудь издали. Глаза его были устремлены на стену.

— Что голоса ссорящихся, — продолжал он, — не принадлежали самим женщинам, доказывается

свидетельскими показаниями. Это уничтожает возможность предположения, будто старуха сначала умертвила дочь, а потом и самоё себя. Я, впрочем, упоминаю об этом предположении только для порядка, потому что у госпожи Л'Эспанэ не хватило бы силы засунуть тело дочери в трубу, а характер увечий на её собственном теле исключает возможность самоубийства. Стало быть, убийство совершено посторонними лицами, и голоса этих-то лиц были услышаны свидетелями. Теперь рассмотрим показания об этих голосах — не будем разбирать их в целом, а отметим только их особенности. Заметили вы в них что-нибудь особенное?

Я отвечал, что тогда как все свидетели приписывали грубый голос французу, — мнения крайне расходились относительно визгливого голоса, или резкого, как характеризовал его один из свидетелей.

— Это само показание, — возразил Дюпен, — а не особенность показания. Вы, стало быть, ничего не заметили толком. А между тем тут есть обстоятельство, достойное замечания. Свидетели, как вы заметили, согласны насчёт грубого голоса. Но особенность показаний относительно визгливого голоса не в разногласии, а в том, что,

когда его описывали итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз, — каждый из них отзывался о нём как о голосе иностранца. Каждый уверен, что этот голос не принадлежал его соотечественнику. В этом все сходятся — то есть в том, что обладатель визгливого голоса не принадлежит нации свидетеля. Француз предполагает, что это голос испанца и «что он разобрал бы отдельные слова, если бы знал испанский язык». Голландец утверждает, что голос принадлежал французу, но из отчёта видно, что свидетель, «не зная французского языка, объяснялся при помощи переводчика».

Англичанин думает, что это был голос немца, но он «не понимает немецкого языка». Испанец уверен, что голос принадлежал англичанину, но «судит только по интонации», так как «не знает английского языка». Итальянцу кажется, что это был голос русского, но он «никогда не слыхал русского языка». Другой француз расходится с первым и положительно утверждает, что голос принадлежал итальянцу; но, «не зная совершенно этого языка», он, подобно испанцу, «судит по интонации». Странный, в самом деле, голос, если о нём возможно такое показание; голос, в интонации которого представители пяти великих наций

Европы не могли узнать ничего родственного! Вы скажете, что он мог принадлежать азиату, африканцу. Уроженцев Азии и Африки немного наберётся в Европе; но, не отрицая возможности такого предположения, я укажу только на три следующие пункта. Один из свидетелей называет голос «скорее резким, чем визгливым». Другие говорят, что он был «отрывистый и неровный». Ни один из них не мог различить слова, — звуки, похожие на слова.

Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое впечатление мои слова производят на ваш ум, но, по моему мнению, законный вывод из этой части показания относительно грубого и визгливого голосов сам по себе способен породить подозрение, которое послужит путеводной нитью для всех дальнейших разысканий. Я говорю «законный вывод», но это выражение не вполне передаёт мою мысль. Я, собственно, думаю, что вывод может быть лишь один и что подозрение, о котором я говорю, вытекает из него неизбежно, как его единственный результат. Что это за подозрение — я пока не скажу. Замечу только, что в моих глазах оно оказалось достаточно сильным, чтобы дать определённое направление — известную тенденцию — моим поискам в комнате.

Перенесёмся мысленно в эту комнату. Что мы прежде всего станем искать в ней? Выход, посредством которого скрылись убийцы. Излишне говорить, что мы не верим в сверхъестественные явления. Госпожа Л'Эспанэ и её дочь не были умерщвлены духами. Виновники преступления — материальные существа и спаслись материальным путём. Но как именно?

К счастью, есть только один способ обсуждения этого пункта, и этот способ должен привести нас к определённому заключению. Рассмотрим один за другим все пути к бегству. Ясно, что убийцы находились в комнате, где найдено тело мадмуазель Л'Эспанэ, или в соседней комнате, в то время, как свидетели поднимались по лестнице. Значит, нужно искать выходы из этих двух комнат. Полиция освидетельствовала полы, потолки, стены самым тщательным образом. Потайной выход не мог бы ускользнуть от её внимания.

Но, не доверяя её глазам, я произвел осмотр моими собственными. Действительно, потайных выходов не было. Обе двери из комнат в коридор были заперты, и ключи находились в замках. Обратимся к трубам.

На расстоянии восьми или десяти футов над печами ширина их обыкновенная, но на всём

протяжении трубы не пролезет и крупная кошка. Итак, уйти через трубу абсолютно невозможно; остаются окна. Через те, что выходят на улицу, нельзя было спуститься незамеченным, так как на улице собралась толпа. Следовательно, убийцы должны были уйти в окна задней комнаты. Придя неизбежно к такому заключению, мы не должны отвергать его ввиду кажущейся невозможности. Нам остается только доказать, что эта невозможность действительно кажущаяся.

В комнате два окна. Одно из них не заставлено мебелью и видно целиком. Нижняя часть другого закрыта изголовьем тяжёлой кровати, придвинутой к нему вплотную. Первое оказалось запертым изнутри. Никакими усилиями не удалось его поднять. В раме с левой стороны была проверчена дыра, и в неё заколочен гвоздь по самую шляпку. В другом окне оказался такой же гвоздь, и его также не удалось отворить. Полиция решила, что этим путём убежать было невозможно. И потому нашла излишним вытащить гвозди и отворить окна.

Я не так поступил, именно на том основании, которое сейчас указал, — то есть потому, что невозможность должна была быть только кажущейся.

Я рассуждал a posteriori[17]. Убийцы бежали через одно из этих окон. Сделав это, они не могли запереть окна изнутри — соображение, которое своей очевидностью заставило полицию отказаться от дальнейших поисков в этом направлении. Но окна были заперты. Стало быть, они должны были затвориться сами. Это заключение являлось неизбежным. Я подошёл к свободному окну, вытащил — не без труда — гвоздь и попытался поднять раму. Как я и ожидал, она не поддавалась моим усилиям. Очевидно, была где-нибудь скрытая пружина.

Это подтверждение моего заключения доказало мне, что я стою на правильном пути, как бы ни были таинственны обстоятельства, касающиеся гвоздей. Тщательно осмотрев раму, я нашёл скрытую пружину. Я надавил её и, довольный своим открытием, не стал поднимать раму.

Теперь я поместил гвоздь на прежнее место и внимательно осмотрел его. Лицо, бежавшее через окно, могло захлопнуть раму, и пружина замкнула бы его сама собой; но оно не могло всадить обратно гвоздь. Это заключение было очевидно и ещё более сужало поле моих исследований.

---

[17] Примечания: 17
На основании опыта *(франц.)*.

Убийцы должны были бежать в другое окно. Предполагая, что пружины в обеих рамах одинаковы, — должна была оказаться разница между гвоздями, по крайней мере, разница в способе их прикрепления. Подойдя к кровати, я осмотрел через её спинку второе окно. Протянув руку из-за спинки, я вскоре нашёл пружину, которая, как я предполагал, оказалась такой же, как в соседнем окне. Затем я осмотрел гвоздь. Он был такой же крупный и так же заколочен по самую шляпку.

Вы подумаете, это сбило меня с толку. Но так думать можно, только не понимая природу индукции. Употребляя охотничье выражение, я ещё ни разу не «потерял след». Чутьё ни разу не изменило мне. Все звенья цепи были налицо. Я проследил тайну до её последнего этапа, и этим этапом был гвоздь. Как я уже сказал, он во всех отношениях походил на своего соседа в другом окне; но этот факт абсолютно ничего не значил (при всей своей кажущейся значительности) в сравнении с тем соображением, что здесь, на этом пункте заканчивалась разгадка тайны. «Должно быть что-нибудь не так в этом гвозде», — подумал я. Я взялся за него, и шляпка с куском самого гвоздя осталась в моих руках. Остаток гвоздя сидел в дыре. Он переломился уже давно (потому что

излом успел заржаветь), по всей вероятности, от сильного удара молотком, который отчасти вогнал шляпку в дерево рамы. Я поместил обломок на прежнее место, — гвоздь снова выглядел целым, перелома не было заметно. Надавив пружину, я приподнял раму на несколько дюймов, шляпка гвоздя поднялась вместе с ней, оставаясь на своём месте. Я закрыл окно, и снова гвоздь выглядел целым.

Теперь загадка была решена. Убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Рама захлопнулась за ним (или он её нарочно захлопнул) и замкнулась на пружину; сопротивление этой пружины полиция приняла за сопротивление гвоздя — и сочла излишним дальнейшее расследование.

Затем являлся вопрос, каким образом убийца спустился из окна. Этот пункт я выяснил себе, когда обошёл вместе с вами дом. На расстоянии пяти с половиной футов от окна находится громоотвод. От этого громоотвода невозможно достать до окна, не говоря уже — войти в комнату. Но я заметил, что ставни четвёртого этажа были особого типа, называемого парижскими плотниками ferrades — в настоящее время такие ставни редко делаются, но они очень обыкновенны в старинных домах в Лионе и Бордо. Они имеют

форму двери (простой, не с двумя половинками), но нижняя часть устроена в виде решётки, так что за неё легко схватиться рукой. В данном случае ширина ставни три с половиной фута. Когда мы смотрели на них со двора, они были полуоткрыты, то есть находились под прямым углом к стене.

По всей вероятности, полиция так же, как и я, осмотрела задний фасад дома; но, глядя на ставни в профиль, не обратила внимания на их значительную ширину или, во всяком случае, не придала ей значения. Решив, что убежать в окно не было возможности, она, естественно, ограничилась только беглым осмотром.

Как бы то ни было, я убедился, что если отворить ставню совершенно, прижать её к стене, то между ней и громоотводом будет только два фута. Очевидно, что при необыкновенной ловкости и смелости можно было пробраться этим путём в комнату. На расстоянии двух с половиной футов (предполагая, что ставня была открыта совершенно) разбойник мог крепко ухватиться за решётку. Затем, повиснув на ней, упереться ногой в стену и, сильно оттолкнувшись, запереть ставню и даже, если окошко было открыто, вскочить в комнату.

Заметьте, что для такого опасного и трудного путешествия я считаю необходимой крайне редкую степень ловкости. Я имею в виду доказать вам, во-первых, что его можно было совершить; а во-вторых, и главным образом, подчеркнуть необычайный, почти сверхъестественный характер деятельности того, кто его совершил.

Вы скажете, без сомнения, выражаясь языком закона, что «в интересах моего дела» я должен был бы скорее умалить, чем подчёркивать особенности этой деятельности. Так, может быть, выходит с точки зрения закона, но не с точки зрения разума. Моя конечная цель только истина. Моё ближайшее намерение — побудить вас сопоставить этот необычайный характер деятельности с особенным, визгливым и неровным голосом, настолько особенным, что не нашлось двух свидетелей, которые согласились бы насчёт национальности его обладателя, — причём никто не мог разобрать членораздельных звуков.

При этих словах смутная догадка о значении его слов мелькнула в моём уме. Казалось, я вот-вот пойму, в чём дело, — как бывает иногда с воспоминанием; кажется, вот сейчас вспомнишь, — и никак не можешь вспомнить до конца.

— Вы видите, — продолжал мой друг, — что

я свернул от вопроса о бегстве к вопросу о появлении вора. Я думаю, что он явился и ушёл одним и тем же путём. Теперь вернёмся в комнату. Посмотрим, в каком виде она оказалась. Ящики комода, — сказано в протоколе, — были обысканы, хотя многие из вещей остались на местах. Вывод получается нелепый. Это простая догадка, — очень глупая, — не более. Почём мы знаем, было ли в этих ящиках что-нибудь, кроме того, что в них оказалось. Госпожа Л'Эспанэ и её дочь жили в одиночестве — ни с кем не знались, — редко выходили из дома, — вряд ли у них было много платьев.

Во всяком случае, их оказалось достаточно и хорошего качества. Если вор взял какие-нибудь из них, — то почему не взял лучшие, — почему не взял все? Да и мог ли он бросить четыре тысячи франков золотом, чтобы обременить себя бельём? Золото было оставлено.

Почти вся сумма, указанная банкиром Миньо, оказалась в мешках и на полу. Я хочу, чтоб вы выбросили из головы ошибочную мысль о мотиве преступления — зародившуюся в полицейских мозгах благодаря той части показания, которая говорит о деньгах, оставленных на полу. Совпадения вдесятеро более замечательные, чем это

(выдача денег и убийство в течение трёх дней после выдачи), случаются в жизни ежечасно, не возбуждая ни малейшего внимания. Вообще совпадения — великий камень преткновения на пути тех мыслителей, которые недостаточно знакомы с теорией вероятностей — теорией, которой самые славные отрасли человеческого исследования обязаны самыми блестящими открытиями. В настоящем случае, факт выдачи денег за три дня до преступления имел бы значение больше чем простого совпадения, если бы деньги были унесены.

Он подкрепил бы идею о мотиве. Но при данных обстоятельствах, считая деньги мотивом преступления, мы должны предположить, что оно совершено идиотом, забывшим о деньгах и о своём мотиве.

Запомнив хорошенько три пункта, на которые я обратил ваше внимание, — особенный голос, необычайную ловкость убийцы и поразительное отсутствие мотива в таком зверском преступлении, — исследуем самое убийство. Вот женщина, задушенная руками и засунутая вниз головой в трубу. Обыкновенные убийцы так не убивают. Меньше всего они заботятся о трупе. Согласитесь, что это засовывание трупа в печку нечто до по-

следней степени outré[18], — нечто совершенно непримиримое с нашими представлениями о человеческой природе, хотя бы мы предположили виновниками преступления самых испорченных людей. Далее, подумайте, какая страшная сила потребовалась для того, чтобы засунуть тело вверх по трубе, когда соединённые усилия нескольких человек едва могли стащить его вниз!

Обратимся теперь к другим указаниям, свидетельствующим о почти баснословной силе. В печке были густые — очень густые пряди седых человеческих волос. Они были вырваны с корнями. Вы знаете, какое усилие нужно употребить, чтобы вырвать таким образом двадцать или тридцать волосков разом. Вы видели клочья, о которых я говорю. На их корнях (отвратительное зрелище) остались частицы кожи, — ясное доказательство чудовищной силы, выдернувшей с корнем, быть может, полмиллиона волос разом. У старухи не только перерезано горло, но голова почти отделена от туловища, — посредством простой бритвы. Обратите также внимание на зверскую жестокость этих преступлений. Об увечьях на теле госпожи Л'Эспанэ я не говорю. Месье

---

[18] Примечания: 18
Экстраординарное *(франц.)*.

Дюма и его достойный сотрудник месье Этьенн решили, что они нанесены каким-нибудь тупым орудием; без сомнения, они правы.

Этим тупым орудием, очевидно, были камни мостовой, на которую выброшен труп из окна над кроватью. Соображение это ускользнуло от полицейских по той же причине, в силу которой ширина ставня осталась незамеченной, — именно потому, что благодаря гвоздям в рамах они решительно не могли представить себе, чтобы окна отворялись. Если теперь, в дополнение ко всем этим фактам, вы примете в соображение дикий беспорядок комнаты, то мы должны будем сопоставить идеи: ловкости поразительной, силы нечеловеческой, жестокости зверской, бойни без мотива — ужасной, абсолютно несвойственной человеческой природе, и голос, звуки которого оказались чуждыми для представителей многих наций, — голос, в котором нельзя было разобрать ни единого слова.

Что же отсюда следует? Какое впечатление произвёл я на ваш ум?

У меня мурашки забегали по телу, когда Дюпен обратился ко мне с этим вопросом.

— Это сделал сумасшедший, — отвечал я, — какой-нибудь бешеный маньяк, убежавший из

соседнего сумасшедшего дома.

— В некоторых отношениях, — возразил он, — ваша идея не лишена основания, но голос сумасшедшего, даже в самом бешеном пароксизме, не соответствует тому особенному голосу, который слышали свидетели. Сумасшедшие принадлежат к той или иной нации, и их язык, как бы ни были бессвязны слова, всегда членоразделен. Кроме того, у сумасшедшего не может быть таких волос, как те, что я держу в своей руке. Я нашёл этот клочок в окоченевших пальцах госпожи Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

— Дюпен, — отвечал я, совершенно ошеломлённый, — это необычайные волосы, не человеческие волосы.

— Я и не говорил, что они человеческие, — возразил он, — но прежде чем решим этот пункт, взгляните на рисунок, который я набросал на листке бумаги. Это точное воспроизведение того, что описано в протоколе обыска как «чёрные полосы и глубокие следы ногтей» на глотке госпожи Л'Эспанэ, а в показании Дюма и Этьенна — как «ряд синих пятен, очевидно, следы человеческих пальцев».

Вы замечаете, — продолжал мой друг, положив передо мною листок, — что, судя по этому

рисунку, рука схватила горло плотно и твёрдо. Незаметно, чтобы пальцы скользили. Каждый оставался, вероятно, до самой смерти жертвы в одном и том же положении. Теперь попытайтесь наложить ваши пальцы на нарисованные.

Я попытался, но безуспешно.

— Может быть, мы не так взялись за дело, — сказал он. — Бумага разложена на плоской поверхности, а человеческое горло имеет цилиндрическую форму.

Вот чурбан приблизительно такой же ширины, как горло. Оберните его листком, и повторим опыт.

Я сделал это; затруднение оказалось ещё очевиднее.

— Это не отпечаток человеческой руки, — заметил я.

— Прочтите же, — сказал Дюпен, — вот это место у Кювье.

Это было подробное анатомическое и общее описание большого бурого орангутанга с Ост-Индских островов. Громадный рост, чудовищная сила и ловкость, дикая жестокость и способности к подражанию этих млекопитающих хорошо известны всем.

— Описание пальцев, — сказал я, прочитав

до конца, — вполне соответствует рисунку. Для меня очевидно, что ни одно животное, кроме орангутанга описанного здесь вида, не могло произвести таких отпечатков. Этот клок бурой шерсти тоже вполне сходится с описанием Кювье. Но я всё-таки не могу объяснить себе некоторых обстоятельств этой страшной тайны. Кроме того, свидетели слышали два ссорившихся голоса и один из них, несомненно, принадлежал французу.

— Верно; и помните слова, произнесённые этим голосом, по показанию всех почти свидетелей, слова «mon Dieu!». Между прочим, один из свидетелей (кондитер Монтани) утверждает, что эти слова были произнесены тоном упрёка или жалобы. На этих-то двух словах и основывается главная моя надежда на разгадку тайны. Француз был свидетелем этого убийства.

Возможно, даже более чем вероятно, что он не принимал никакого участия в этих кровавых поступках. Орангутанг мог убежать от него. Он мог гнаться за ним до самой комнаты; но при последовавших затем ужасных происшествиях не мог усмирить его. Я не буду продолжать эти догадки, потому что они основываются на размышлениях, слишком глубоких даже для моего рассудка, и по-

тому что я не могу сделать их убедительными для других. Назовём их пока догадками. Если француз, о котором я говорю, действительно неповинен в этом зверском убийстве, то объявление, отданное мною вчера вечером для напечатания в газете «Ле Монд» (очень популярной среди моряков), заставит его прийти к нам.

Он протянул мне газету, и я прочёл следующее:

> «Пойман в Булонском парке рано утром (указан день убийства) огромный бурый орангутанг, вида, водящегося на Борнео. Собственник (по справкам, француз с мальтийского корабля) может получить его обратно, доказав своё право собственности и уплатив небольшую сумму за поимку и содержание. Обратиться в N**, улица **, в Сен-Жерменском предместье, третий этаж».

— Как вы могли узнать, — спросил я, — что это моряк и притом с мальтийского корабля?

— Я не знаю этого, — отвечал Дюпен. — Я не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, которая, судя по её форме и засаленному виду, служила для

завязывания волос в виде длинного queues[19], который в такой моде у матросов. Кроме того, этот узел вряд ли мог быть связан кем-нибудь, кроме матроса и притом мальтийца. Я нашёл эту ленту у подножия громоотвода. Она не могла принадлежать покойницам. Но если я даже ошибся, заключив по ленте, что француз этот — моряк с мальтийского корабля, то всё-таки я мог безопасно упомянуть об этом в объявлении. Если это ошибка, то он подумает, что я получил неверную справку, и только. Если же я прав, то получаю большое преимущество. Зная о преступлении, француз, хотя бы и невинный, естественно, будет колебаться, ответить ли ему на объявление, то есть явиться ли за орангутангом. Он будет рассуждать так: «Я невинен, я беден, мой орангутанг стоит дорого — при моих обстоятельствах это целое состояние, — неужели я упущу его из-за пустых опасений? Я могу получить его. Он пойман в Булонском парке — вдали от места преступления. Кто же догадается, что это убийство совершил зверь? Полиция на ложном пути — у неё нет никакого ключа к разъяснению тайны. Если даже поймают зверя, кто докажет, что я знал о пре-

[19] Примечания: 19
Косицы, хвосты *(франц.)*.

ступлении, и с какой стати меня обвинят, хотя бы я действительно знал о нём? А главное, моя личность уже известна. В объявлении сказано, что я хозяин зверя. Не знаю, что именно обо мне известно. Если я не являюсь за таким дорогим имуществом, то могу сам возбудить подозрение. Это вовсе не расчёт. Мне не следует привлекать внимание ко мне самому или к зверю. Я отвечу на объявление, получу орангутанга и припрячу его, пока не забудут об этом происшествии».

В эту минуту послышались шаги на лестнице.

— Будьте наготове, — сказал Дюпен, — но не пускайте в ход и не показывайте пистолеты, пока я не дам знак.

Наружная дверь дома была открыта, так что посетитель вошёл не звоня и поднялся по лестнице на несколько ступеней. Тут он, по-видимому, остановился в нерешительности. Потом стал спускаться обратно. Дюпен кинулся было к двери, но мы услышали, что посетитель снова пошёл наверх. На этот раз он шёл смело, не останавливаясь, и вскоре постучал в дверь.

— Войдите, — сказал Дюпен весёлым и приветливым голосом.

Незнакомец вошёл. Это был, очевидно, моряк, высокий, плотный, хорошо сложённый, но с вы-

зывающей осанкой — не особенно симпатичный. Лицо его, очень загорелое, было до половины закрыто бакенбардами и mustachio[20]. Он держал в руке тяжёлую палку, но другого оружия с ним, кажется, не было.

Он неловко поклонился и сказал «здравствуйте» с невшательским акцентом — не настолько сильным, однако, чтобы не догадаться, что он парижанин по рождению.

— Присядьте, друг мой, — сказал Дюпен. — Вы, вероятно, явились за орангутангом. Право, я почти завидую вам; превосходный, без сомнения, очень дорогой экземпляр. Сколько ему лет, как вы думаете?

Моряк перевёл дух, как человек, избавившийся от невыносимой тяжести, и отвечал уверенным тоном:

— Право, не знаю — года четыре-пять не больше. Он у вас здесь?

— О нет, тут негде его поместить. Он на извозчичьем дворе на улице Дюбург, два шага отсюда. Вы можете получить его завтра утром. Вы, конечно, приготовили удостоверение?

— Разумеется, сударь.

---

[20] Примечания: 20
Усы *(итал.)*.

— Жалко мне будет расстаться с ним, — заметил Дюпен.

— Я и не рассчитывал, что вы даром хлопотали для меня, сэр, — отвечал матрос. — Я охотно заплачу за поимку животного — конечно, умеренное вознаграждение.

— Хорошо, — отвечал мой друг, — очень хорошо. Дайте подумать, что с вас взять... Да, так, сейчас скажу вам. Вот моя награда. Вы сообщите мне всё, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Дюпен произнёс эти слова очень тихо и спокойно. Так же спокойно подошёл к двери, запер её на ключ, а ключ положил в карман. Затем он достал из-за пазухи пистолет и не спеша положил его на стол.

Лицо матроса налилось кровью, казалось, он сейчас задохнётся. Он вскочил, схватился за палку, но в ту же минуту опустился на стул, весь дрожа и бледный как смерть. Он не говорил ни слова. Я от всей души пожалел его.

— Друг мой, — сказал Дюпен ласковым тоном, — вы напрасно волнуетесь — совершенно напрасно. Мы не злоумышляем против вас. Даю вам честное слово джентльмена и француза, что мы не сделаем вам ничего худого. Я отлично знаю,

что вы неповинны в зверском преступлении на улице Морг. Тем не менее нельзя отрицать, что вы до некоторой степени замешаны в нём. Из всего мною сказанного вы можете видеть, что я имел возможность разузнать обстоятельства дела — из таких источников, о которых вам и не думалось. Теперь дело обстоит так. Вы не сделали ничего такого, за что вам пришлось бы отвечать. Вы даже не виновны в воровстве, хотя могли бы украсть безнаказанно. Вам нечего скрывать. С другой стороны, честность обязывает вас разъяснить дело. Невинный человек арестован и обвинён в преступлении, виновник которого вам известен.

Матрос оправился, пока Дюпен говорил эти слова; но его вызывающий вид совершенно исчез.

— Да поможет мне Бог, — сказал он после непродолжительной паузы, — я расскажу вам всё, что мне известно об этом деле, но я не жду, чтоб вы поверили мне хоть вполовину, — было бы нелепо с моей стороны этого ожидать. А между тем я действительно невинен.

Вот суть его рассказа. Он совершил недавно путешествие на Индийский архипелаг. На острове Борнео ему и его товарищу удалось поймать орангутанга. Товарищ умер, и животное перешло в его полную собственность. С большими

затруднениями — из-за неукротимой свирепости пленника — его удалось перевезти домой. Матрос поместил его в своей квартире и, чтобы избавиться от надоедливого любопытства соседей, держал зверя в чулане, в ожидании, пока заживёт его пораненная обломком дерева нога. Затем он намеревался продать зверя.

Вернувшись домой с какой-то пирушки ночью, или скорее утром в день убийства, матрос застал зверя в своей спальне, куда он успел-таки выбраться из чулана.

С бритвой в руках, весь в мыле, он сидел перед зеркалом и брился, подражая своему хозяину, за которым, без сомнения, наблюдал во время этой операции сквозь щёлку. Ужаснувшись при виде такого опасного оружия в руках свирепого зверя, матрос в первую минуту не знал, что делать. Впрочем, он привык усмирять орангутанга с помощью плети, за которую взялся и теперь. При виде плети орангутанг кинулся вон из комнаты, сбежал по лестнице и выскочил в окно, которое, к несчастью, оказалось открытым на улицу.

Француз погнался за ним в отчаянии; обезьяна бежала, размахивая бритвой, по временам останавливаясь и делая гримасы своему хозяину. Но, подпустив его почти вплотную, снова обраща-

лась в бегство. Это преследование продолжалось довольно долго. Улицы были совершенно пусты вследствие раннего времени. Пробегая по переулку в конце улицы Морг, обезьяна заметила свет в открытом окне комнаты госпожи Л'Эспанэ. Взобравшись с невероятною быстротой и ловкостью по громоотводу, она уцепилась за ставню, которая была открыта настежь, и вскочила прямо на спинку кровати. Всё это потребовало не более минуты. Когда орангутанг вскочил в комнату, ставня снова распахнулась.

Матрос обрадовался и испугался. Теперь он надеялся поймать животное, так как вряд ли оно могло ускользнуть из ловушки, в которую само забралось. С другой стороны, он боялся, как бы оно не наделало беды в доме. Это последнее соображение заставило его продолжать преследование. Взобраться по громоотводу нетрудно, тем более для матроса, но когда он поднялся на высоту окна, находившегося от него по левую руку на довольно большом расстоянии, пришлось остановиться. Он мог только заглянуть внутрь комнаты и, сделав это, чуть не свалился с громоотвода от ужаса. Тут-то и раздались отчаянные крики, разбудившие обитателей улицы Морг. Госпожа Л'Эспанэ и её дочь, в ночных кофточках,

по-видимому, занимались разборкой документов в железном сундуке, о котором уже упоминалось выше. Он был открыт, и его содержимое выложено на пол. Жертвы сидели спиной к окну и, должно быть, не заметили зверя, вскочившего в комнату. Звук захлопнувшейся ставни мог быть приписан ветру.

Когда матрос заглянул в комнату, гигантское животное, схватив госпожу Л'Эспанэ за волосы, распущенные на ночь, водило по её лицу бритвой, подражая движениям цирюльника. Дочь лежала на полу в обмороке. Отчаянные крики и борьба старухи (при этом у неё и были вырваны волосы) превратили в бешенство первоначально мирные намерения орангутанга. Одним взмахом своей мускулистой руки он почти начисто отделил её голову от тела. Вид крови привёл его в исступление. Щёлкая зубами и сверкая глазами, он ринулся на тело девушки и, охватив её горло своими страшными руками, задушил несчастную. В эту минуту его блуждающие взоры упали на спинку кровати, из-за которой виднелась окаменевшая от ужаса голова матроса. Бешенство животного, без сомнения, хорошо помнившего плеть, мгновенно превратилось в страх. Зная, что ему предстоит наказание, он, по-видимому, хотел

скрыть следы своего преступления и заметался по комнате в припадке нервного волнения, опрокидывая и швыряя всё, что попадалось под руку. В заключение, схватив тело дочери, он засунул его в трубу, а труп госпожи Л'Эспанэ выбросил в окно.


БЕШЕНСТВО ЖИВОТНОГО, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ХОРОШО ПОМНИВШЕГО ПЛЕТЬ, МГНОВЕННО ПРЕВРАТИЛОСЬ В СТРАХ.

Когда обезьяна приблизилась к окну с изуродованным телом своей жертвы, матрос в ужасе отшатнулся и, скорее соскользнув, чем спустившись с громоотвода, — опрометью кинулся домой, в паническом страхе за последствия преступления, бросив орангутанга на произвол судьбы. Звуки голосов, услышанные свидетелями на лестнице, были восклицаниями француза и рычанием зверя.

Больше, кажется, нечего прибавить. Орангутанг, без сомнения, бежал из комнаты по громоотводу, пока ломали дверь. При этом он захлопнул за собой ставню. Позднее он был пойман самим владельцем и продан за большую сумму в Ботанический сад. Лебон был тотчас освобождён, после того как мы разъяснили обстоятельства дела (с некоторыми комментариями со стороны Дюпена) в канцелярии префекта полиции. Этот чиновник, хотя и питавший расположение к моему другу, был несколько раздосадован таким неожиданным оборотом дела и не удержался от саркастических замечаний насчёт людей, которые любят соваться не в своё дело.

— Пусть его, — сказал мне Дюпен, не считавший нужным возражать префекту. — Пусть отведёт душу. Я довольствуюсь тем, что разбил

его на его собственной территории. Во всяком случае, напрасно он удивляется тому, что не сумел разгадать тайны: наш приятель префект слишком хитроумен, чтобы быть глубоким. В его мудрости нет прочного основания. Он голова без тела, как изображения богини Лаверны, или, самое большее, голова и плечи, как у трески. Но, в конце концов, он добрый малый. Я в особенности люблю его за мастерский приём, с помощью которого ему удалось приобрести репутацию проницательности. Я имею в виду его манеру «de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas[21]».

[21] Примечания: 21

«Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует» *(франц., Ж.-Ж. Руссо).*

Тайна Мари Роже *(Продолжение «Убийства на улице Морг»*[22]*)*

Существует ряд идеальных событий, которые совершаются параллельно с действительными. Люди и случайности обыкновенно изменяют идеальное событие, так что оно проявляется не вполне, и его последствия тоже оказываются неполными. Так было с Реформацией – вместо протестантизма явилось лютеранство.

Новалис «Нравственные воззрения»

Немного найдётся людей, даже из числа са-

---

[22] Примечания: 22

При напечатании «Мари Роже» в первый раз можно было обойтись без примечаний, которыми сопровождается этот рассказ в настоящем издании, но промежуток в несколько лет со времени трагедии, послужившей основой для рассказа, делает их нелишними, равно как и несколько объяснительных слов. Молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс была убита поблизости от Нью-Йорка, и, хотя это происшествие наделало много шума, тайна преступления осталась неразрешённой до времени напечатания повести (ноябрь 1842 г.). Автор этой последней, в форме вымышленной истории одной парижской гризетки, излагает до мельчайших подробностей существенные обстоятельства действительного убийства Мэри Роджерс. Таким образом, все аргументы прилагаются к истинному событию — исследование этой истины, собственно, и было целью рассказа. «Тайна Мари Роже» написана вдали от места, где совершилось кровавое преступление, исключительно на основании газетных сведений. Таким образом, от автора ускользнуло

многое, чем он мог бы воспользоваться, если бы сам посетил место действия. Тем не менее нелишне будет заметить, что признания двух лиц (одно из них — госпожа Делюк), сделанные в разное время, много спустя после напечатания этой истории, подтвердили не только общий вывод автора, но и все до единой главные гипотетические детали, послужившие основой вывода.

мых спокойных мыслителей, у которых бы не являлось когда-нибудь смутной, но непреодолимой веры в сверхъестественное, вызванной совпадениями, до того невероятными, что ум отказывался считать их только совпадениями. От этого чувства — ибо смутная полувера, о которой я говорю, никогда не приобретает силу мысли, — от этого чувства можно отделаться, только обратившись к учению о случае, или, как его называют технически, к теории вероятностей. Теория же эта, по существу, математическая; таким образом, аномалии самых твёрдых и точных научных фактов приложимы и к самому призрачному духовному из наиболее духовных умозрений.

Необычайные происшествия, о которых я намерен сообщить, представляют в отношении последовательности времени первичную ветвь ряда почти невероятных совпадений, вторичную, или заключительную, ветвь которых читатели найдут в недавнем убийстве Мэри Сесилии Роджерс в Нью-Йорке.

Изобразив в статье «Убийство на улице Морг», напечатанной в прошлом году, некоторые замечательные черты характера моего друга шевалье Огюста Дюпена, я не собирался когда-либо возвра-

щаться к той же теме. Моя цель исчерпывалась изображением характера, а странное стечение обстоятельств, благодаря которому мог проявиться особый дар Дюпена, давало возможность осуществить эту цель. Я мог привести и другие примеры, но они не выяснили бы новых черт.

Однако недавние события в их поразительном сцеплении побудили меня прибавить ещё несколько штрихов к сказанному. После того, что мне привелось услышать недавно, странно было бы с моей стороны хранить молчание о том, что я слышал и видел много лет тому назад.

Распутав трагическую загадку, связанную с убийством госпожи Л'Эспане и её дочери, Дюпен перестал следить за этим делом и вернулся к своему прежнему угрюмому и мечтательному существованию. Склонный по натуре к мечтам, я охотно поддавался его настроению, и, проживая по-прежнему в Сен-Жерменском предместье, мы предоставили будущее воле судеб и мирно дремали в настоящем, набрасывая дымку грёз на окружающий мир.

Но грёзы эти иногда прерывались. Весьма понятно, что роль моего друга в драме улицы Морг произвела впечатление на умы парижской полиции. Имя его сделалось известным среди её

представителей. Ни префект, ни другие члены полиции не знали, каким простым рядом умозаключений он был приведён к разгадке, всё это казалось им почти чудесным, и аналитические способности моего друга принесли ему славу почти ясновидящего. Его откровенность могла бы уничтожить этот предрассудок, но беспечный характер заставил его забыть о происшествии, раз оно потеряло интерес в его собственных глазах.

Таким-то образом Дюпен очутился в положении звезды, неотразимо притягивающей взоры полицейских, и нередко префектура обращалась к нему за содействием. Один из самых замечательных примеров — убийство молодой девушки по имени Мари Роже.

Это происшествие случилось два года спустя после зверского убийства на улице Морг. Мари, имя и фамилия которой невольно наводят на мысль о несчастной жертве нью-йоркского убийства, была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Отец умер, когда девушка была еще ребёнком, и со времени его смерти мать и дочь жили на улице Паве-Сент-Андре[23], откуда последняя переселилась только за полтора года

[23] Примечания: 23
Нассау-стрит.

до убийства, послужившего темой нашего рассказа. Вдова держала pension[24], дочь помогала ей. Так шло дело, пока дочери не исполнился двадцать один год. В это время её красота привлекла внимание парфюмера, лавка которого помещалась в подвальном этаже Пале-Рояля, а покупатели принадлежали главным образом к числу отчаянных авантюристов, которыми кишит этот квартал. Месье Леблан[25] очень хорошо понимал, как выгодно будет для его торговли присутствие хорошенькой Мари за прилавком; а девушка согласилась поступить в его магазин, хотя её матери, видимо, это не нравилось.

Надежды торговца вполне оправдались — его лавочка вскоре приобрела известность благодаря красоте бойкой grizette[26]. Она провела за прилавком около года, когда вдруг её обожатели были поражены исчезновением хорошенькой продавщицы. Месье Леблан не мог объяснить её отсутствия, а госпожа Роже была вне себя

---

[24] Примечания: 24
Пансион *(франц.)*.

[25] Примечания: 25
Андерсон.

[26] Примечания: 26
Гризетка *(франц.)* — работающая девушка (белошвейка, продавщица, цветочница и т. д.).

от беспокойства и страха. Газеты немедленно занялись этим делом, и полиция намеревалась предпринять серьёзное расследование, когда в один прекрасный день спустя неделю Мари, здоровая и невредимая, но несколько печальная, снова появилась за прилавком.

Разумеется, всякое расследование, кроме некоторых справок, было тотчас же прекращено. Месье Леблан по-прежнему уверял, что ничего не знает. Мари и мать её отвечали на расспросы, что она, Мари, провела неделю в деревне у одного родственника. Так это дело и заглохло и было забыто, тем более что девушка, которой, очевидно, надоели назойливость и любопытство посетителей, вскоре распростилась с парфюмером и переселилась обратно под крылышко матери, на улицу Сент-Андре.

Спустя пять месяцев после возвращения под родительский кров друзья Мари были встревожены её повторным исчезновением. Прошло три дня, а о ней не было ни слуху ни духу. На четвёртый тело её было найдено в Сене[27] близ отмели против улицы Сент-Андре, недалеко от

[27] Примечания: 27
Гудзон.

заставы Дюруль[28].

Жестокость этого убийства (факт убийства был очевиден), красота и молодость жертвы, а главное — её прежняя известность возбудили большое волнение в сердцах чувствительных парижан. Я не могу припомнить другого случая, который произвёл бы такое сильное впечатление. В течение нескольких недель только и разговоров было, что об убийстве Мари, — даже о политике на время забыли. Префект из кожи лез, и парижская полиция напрягала все свои силы.

Когда нашли тело, никто не сомневался, что убийца вскоре попадётся в руки сыщиков; только спустя неделю была назначена награда за поимку, да и то небольшая — в тысячу франков. Тем временем следствие продолжалось деятельно, но не всегда разумно, и много лиц было допрошено зря; а возбуждение публики, подстрекаемое неразгаданностью тайны, росло. На десятый день сочли нужным удвоить награду, а когда прошла ещё неделя в бесплодных поисках и раздражение против полиции, всегда существующее в Париже, проявилось в нескольких серьёзных emeutes[29],

---

[28] Примечания: 28
Уихокен.

[29] Примечания: 29
Уличные волнения *(франц.)*.

префект решил назначить двадцать тысяч франков «за открытие убийцы» или, предполагая, что их было несколько, «за открытие одного из них». Обещалось также полное помилование соучастнику, который выдаст товарища; а вместе с этим объявлением всюду расклеивалось другое, частное, от комитета граждан, назначивших десять тысяч франков в дополнение к официальной награде. Вся сумма, стало быть, достигала тридцати тысяч франков — награда, без сомнения, огромная, если принять во внимание скромное положение девушки и обычность подобных злодейств в больших городах.

Теперь никто не сомневался, что тайна немедленно раскроется. Но хотя и были произведены два-три ареста, обещавшие успех, однако никаких результатов не было, подозрения не подтвердились, и арестованные были отпущены на свободу. Как это ни странно, но три недели прошли в бесплодных поисках, прежде чем слухи о событии, так взволновавшем публику, достигли меня и Дюпена. Погружённые в исследования, которые поглощали всё наше внимание, мы уже больше месяца никуда не выходили, никого не принимали и только мельком заглядывали в политический отдел газет. Первое известие об

убийстве мы получили от самого Г. Он явился к нам собственною персоной под вечер 14 июля 18… года и просидел у нас до поздней ночи. Он был огорчён неудачей своих поисков. Репутация его, говорил он с особенным парижским акцентом, висит на волоске. Даже честь его задета. Взоры публики устремлены на него, и он готов на какую угодно жертву для разъяснения этой тайны. Он закончил свою довольно забавную речь похвалами такту Дюпена и сделал ему откровенное и весьма щедрое предложение, которое я не считаю себя вправе передавать, да оно и не имеет прямого отношения к рассказу.

На комплименты друг мой отвечал, как умел, но предложение принял без отговорок. Покончив с этим, префект начал излагать свои собственные соображения, сопровождая их длинными комментариями к показаниям свидетелей, — показания ещё не находились в наших руках. Он говорил пространно и, конечно, с большим знанием дела; наконец я решился заметить, что ночь уже на исходе. Дюпен, сидя в своём любимом кресле, казался воплощением почтительного внимания. Во время этого разговора он надел очки. Заглянув случайно за их синие стёкла, я убедился, что он спал тихим, но крепким сном в

течение нестерпимых семи-восьми часов, пока сидел префект.

Утром я получил в префектуре протоколы свидетельских показаний и добыл в различных редакциях все номера газет, где было помещено что-либо важное об этом грустном происшествии. Освобождённая от явного вздора вся эта масса данных сводилась к следующему.

Мари Роже оставила квартиру своей матери в Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье, двадцать второго июня 18... года. Уходя, она сообщила господину Жаку Сент-Эсташу[30], и только ему одному, о своем намерении провести день этот у тётки на улице Дром. Дром — небольшой и узкий, но многолюдный переулок близ реки, в двух милях по кратчайшей дороге от пансиона госпожи Роже. Сент-Эсташ был признанный обожатель Мари и нанимал комнату со столом у её матери. Он должен был отправиться под вечер за своей возлюбленной и проводить её домой. Но к вечеру пошёл сильный дождь, и, предполагая, что Мари останется ночевать у тётки, как это случалось раньше при подобных обстоятельствах, он не счёл нужным сдержать

---

[30] Примечания: 30
Пэн.

своё обещание. С наступлением ночи госпожа Роже (дряхлая семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что ей «никогда больше не придётся увидеть Мари», но слова эти в то время были оставлены без внимания.

В понедельник узнали, что девушка не появлялась на улице Дром, и когда день прошёл, а она не возвращалась, начались поиски по городу и в окрестностях. Но только на четвёртый день после её исчезновения поиски привели к определённому результату. В этот день (среда, 25 июня) некий господин Бовэ[31], разыскивавший девушку с одним из своих приятелей в окрестностях заставы Дюруль на берегу Сены против улицы Сент-Андре, услыхал, что рыбаки только что вытащили из воды труп. Увидев его, Бовэ после некоторых колебаний признал Мари. Его приятель узнал её быстрее.

Лицо налилось кровью. Пены на губах, какая бывает у утопленников, не было. Клетчатка не была обесцвечена. На шее виднелись синяки и следы пальцев. Руки были сложены на груди и окоченели. Правая рука оказалась сжатой, левая — полуоткрытой. На левой руке замечены две

---

[31] Примечания: 31
Кроммелин.

кольцеобразные ссадины, по-видимому от верёвок или от верёвки, два раза обёрнутой вокруг руки. Ссадины оказались также на правой руке, на спине, а в особенности на лопатках. Чтобы вытащить тело на берег, рыбаки обвязали его верёвкой, но она не оставила никаких ссадин. Шея сильно вздулась.

Она была обмотана шнурком так туго, что он врезался в тело и не был заметен снаружи; узел приходился под левым ухом. Одно это уже могло причинить смерть. Медицинский осмотр засвидетельствовал целомудрие покойной. Она, по показанию медиков, подверглась грубому насилию. Тело находилось в таком состоянии, что друзья покойной признали её без труда.

Одежда была изорвана и в беспорядке. Из платья вырвана полоса шириною в фут — от нижней каёмки до талии, но не совсем оторвана. Она была три раза обёрнута вокруг талии и завязана петлёй на спине. Под платьем находилась рубашка; из неё тоже вырван лоскут в восемнадцать дюймов шириной, вырван осторожно, ровным куском. Он был обмотан вокруг шеи и завязан узлом.

Поверх лоскута и шнурка повязаны ленты шляпки — морским узлом.

Когда тело было узнано, его не отправили в

морг (эта формальность казалась излишней), а поспешили похоронить тут же поблизости.

Господин Бовэ старался избежать огласки этого происшествия, и прошло несколько дней, прежде чем публика заволновалась. Наконец одна еженедельная газета[32] взялась за эту тему: тело было вырыто и подверглось новому осмотру, который, впрочем, ничего не прибавил к тому, что выяснилось раньше. Одежда была предъявлена матери и друзьям покойной и признана ими за ту, которая была на девушке, когда она уходила из дома.

Между тем возбуждение росло час от часу. Несколько лиц было арестовано. Особенное подозрение возбудил Сент-Эсташ, который сначала не мог объяснить, где он провёл день, когда Мари ушла из дому. Впоследствии, впрочем, он представил господину Г. удовлетворительное объяснение.

По мере того как время шло, а тайна оставалась нераскрытой, тысячи слухов возникали в обществе, а журналисты придумывали всевозможные объяснения. Особенно взволновало предположение, что Мари Роже ещё жива, что в Сене найдено тело какой-то другой несчастной.

---

[32] Примечания: 32
«Нью-йоркский вестник».

Считаю нелишним сообщить читателям некоторые из статей на эту тему. Статьи дословно переведены из «Л'Этуаль»[33] — газеты вообще хорошо осведомлённой.

> «Мадемуазель Роже оставила квартиру своей матери утром в воскресенье, двадцать второго июня 18… с тем чтобы идти к своей тётке или другой родственнице на улицу Дром. С этой минуты её не видали. Никаких известий, никаких сведений о ней не получено…
>
> Никто из знакомых не видел её в этот день после того, как она ушла от матери… Мы не имеем никаких доказательств, что Мари Роже была в живых после девяти часов в воскресенье, но можем сказать с уверенностью, что до девяти часов она была жива. В среду около полудня был найден труп женщины на отмели близ заставы Дюруль. Это составит – если даже мы предположим, что Мари Роже была брошена в реку не позже чем через три часа после того, как вышла из дому, – все-

[33] Примечания: 33

«Звезда» *(франц.)*. — «New York Brother Jonathan», издаваемый мистером Гастингсом Уэльдом.

го трое суток. Но было бы нелепо предположить, что убийство совершилось задолго до полуночи. Виновники таких злодейств ищут тьмы, а не света… Итак, если тело, найденное в реке, – тело Мари Роже, то оно пробыло в воде не более двух с половиной дней, самое большее три. Опыт показал, что тела утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через шесть-десять, когда разложение достигнет значительной степени! Если даже пушка выстрелит над телом и оно всплывает ранее пяти-шести дней, то сейчас же погрузится снова. Почему же в данном случае произошло отступление от естественного хода явлений?.. Если изуродованное тело было спрятано где-нибудь на берегу до ночи со вторника на среду, нашлись бы следы убийц. Сомнительно также, чтоб оно всплыло так скоро, даже если бы было брошено в воду через два дня после смерти.

И наконец, совершенно невероятно, чтобы негодяи, совершившие убийство, не догадались привязать к трупу какую-

нибудь тяжесть, когда это было так легко сделать».

Далее автор старается доказать, что тело находилось в воде «не три дня, а добрых две недели», ибо успело разложиться до такой степени, что Бовэ узнал его лишь с трудом. Впрочем, этот последний пункт оказался неверным. Продолжаю перевод.

«На каком же основании господин Бовэ утверждает, что это был труп Мари Роже? Он отвернул рукав платья и нашёл приметы, удостоверившие его в том, что он не ошибся. Публика предполагала, что эти приметы – родимые пятна или рубцы. В действительности господин Бовэ нашёл на руке волоски, то есть нечто совершенно неопределённое, примету, на которой так же нельзя основать никакого заключения, как на том факте, что в рукаве оказалась рука. Господин Бовэ не возвращался в этот день домой, а к восьми часам вечера уведомил госпожу Роже, что следствие по поводу её дочери продолжается. Если преклонный возраст и горе госпожи Роже не позволили ей самой выйти из

дома (что вполне допустимо), то хоть кто-нибудь из близких явился бы на место действия, раз предполагали, что это труп Мари. Никто, однако, не явился. Никто из обитателей дома на улице Сент-Андре не слыхал и не знал об этом происшествии. Господин Сент-Эсташ, обожатель и жених Мари, проживавший в доме её матери, узнал о нахождении тела своей возлюбленной только на следующее утро, когда господин Бовэ явился к нему и сообщил о происшествии. Странно, что подобное известие могло быть принято так равнодушно».

Газета старалась подчеркнуть равнодушие друзей и родных Мари, равнодушие совершенно неестественное в том случае, если бы они действительно верили в её смерть.

Намёки газеты сводились к следующему.

Мари, с ведома своих друзей, уехала по делу, бросающему тень на её нравственность, — и вот они воспользовались находкой тела, напоминавшего отчасти эту девушку, чтобы пустить слух о её смерти. Но «Л'Этуаль» чересчур поторопилась: равнодушия, о котором она толковала, вовсе не

было; напротив, старуха мать слегла от волнения, а Сент-Эсташ пришёл в такое исступление от горя, что господин Бовэ просил друзей и родственников присматривать за ним и ни за что не допускать его к телу покойной. Далее, хотя газета уверяла, что погребение тела было совершено за общественный счёт, что семья решительно отклонила предложение устроить частные похороны, что никто из родных не присутствовал при погребении, — хотя, говорю я, «Л'Этуаль» приводила эти факты в подтверждение своей мысли, но все они были опровергнуты. В следующем номере газеты была сделана попытка набросить тень на самого господина Бовэ. Автор статьи писал:

> «Теперь дело представляется в ином свете. Мы слышали, что, когда госпожа Б. была у госпожи Роже, господин Бовэ, уходя из дома, просил её в случае появления жандарма, которого ожидали в доме, не сообщать ему ничего до возвращения его, господина Бовэ… По-видимому, господин Бовэ считает это дело своим личным. Без господина Бовэ нельзя шагу ступить… Он почему-то решил, что никто, кроме него, не должен мешаться в следствие, и, судя

по показаниям родственников, устранил их довольно странным образом. По-видимому, ему очень не хотелось, чтобы родные увидели тело».

Следующий факт придавал известный оттенок подозрению, брошенному таким образом на господина Бовэ. Один из посетителей его конторы за несколько дней до исчезновения девушки и в отсутствие хозяина заметил розу в замочной скважине его двери и имя «Мари» на аспидной доске, висевшей подле. По общему мнению газет, Мари сделалась жертвой шайки негодяев, которые изнасиловали и убили её. «Коммерсьель»[34], газета очень влиятельная, явилась наиболее серьёзным представителем этого мнения. Цитирую её статью:

«Мы убеждены, что следствие находится на ложном пути, раз оно сосредоточено в окрестностях заставы Дюруль. Особа, известная тысячам людей в этой местности, не могла бы и трёх шагов ступить, не будучи узнана кем-либо; а всякий узнавший её вспомнил бы об этом, так

[34] Примечания: 34
Торговая, коммерческая газета *(франц.)*.

как она интересует всех. Когда она ушла из дому, улицы были полны народа… Невозможно, чтобы она дошла до заставы Дюруль или улицы Дром, не замеченная, по крайней мере, десятком лиц, а между тем никто не видал её вне дома матери, и нет никаких доказательств, кроме её собственных слов, что она ушла из дому. Её платье оказалось изорванным, обмотанным вокруг талии и завязанным на спине в виде петли, за которую, очевидно, тащили труп. Если бы убийство совершилось у заставы Дюруль, не было бы надобности в таком приспособлении. Правда, её тело найдено около заставы, но из этого вовсе не следует, что оно здесь же было брошено в воду… Из юбки несчастной девушки был вырван лоскут в два фута длиною и фут шириной и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков».

За день или за два до посещения нас господином Г. полиция узнала новый и весьма важный факт, по-видимому совершенно опровергавший

мнение «Коммерсьель». Два мальчугана, сыновья некоей госпожи Делюк, рыская по лесу вокруг заставы Дюруль, забрались в рощицу, в глубине которой три или четыре больших камня были сложены наподобие скамьи со спинкой и сиденьем. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором — шёлковый шарф. Тут же валялись зонтик, перчатки и носовой платок. На платке было вышито имя «Мари Роже». На окружающих кустарниках нашлись клочки платья. Трава была смята, почва притоптана — очевидно, здесь происходила борьба. Между рощицей и рекой изгородь была сломана, и на земле замечены следы, доказывавшие, что тут волокли какую-то тяжесть.

Еженедельная газета «Ле Солей»[35] посвятила этому открытию следующую статью, в которой отразилось общее настроение парижской прессы:

> «Вещи, очевидно, лежали здесь три или четыре недели: все покрылись плесенью; некоторые обросли травой. Шёлковая материя зонтика ещё крепка, но нит-

[35] Примечания: 35
«Солнце» *(франц.).*

ки совершенно истлели. Верхняя часть покрылась плесенью и ржавчиной и порвалась, когда зонтик был открыт… Лоскутья, вырванные из одежды кустарниками, достигают трех дюймов в длину и шести в ширину. Один из них – кусок оборки платья, другой – обрывок подола. Они висели на изломанном кусте, на фут от земли. Нет сомнения – место гнусного насилия найдено».

Вслед за этим открытием явилось новое показание. Госпожа Делюк заявила, что она держит гостиницу недалеко от берега реки против заставы Дюруль. Местность вокруг пустынная. По воскресеньям в гостинице собираются разные головорезы из города, переезжая реку на лодках. Около трёх часов пополудни в воскресенье двадцать второго июня явилась туда девушка в сопровождении молодого человека, брюнета. Оба посидели несколько времени в гостинице, затем ушли по направлению к соседней роще.

Госпожа Делюк вспомнила, что на девушке было такое же платье, какое оказалось на убитой. В особенности ясно помнила она шарф. Вскоре после ухода молодых людей явилась толпа каких-

то сорванцов; они шумели, ели и пили; ушли, не расплатившись, в том же направлению, в котором скрылась парочка. В сумерки они вернулись в гостиницу и поспешно переправились на ту сторону.

В тот же вечер, вскоре после наступления темноты, госпожа Делюк и её старший сын слышали женские крики неподалеку от гостиницы. Крики были отчаянные, но скоро умолкли. Госпожа Делюк узнала не только шарф, найденный в рощице, но и платье покойницы. Затем кучер дилижанса Валенс[36] тоже показал, что Мари Роже переправлялась в то воскресенье через Сену на лодке в обществе какого-то смуглого молодого человека. Он, Валенс, хорошо знал Мари и не мог ошибиться. Вещи, найденные в рощице, были признаны её родными.

Сумма этих справок и сведений, собранных мною в газетах по просьбе Дюпена, дополнилась ещё только одним фактом, но, по-видимому, очень важным. Вскоре после открытий в вышеупомянутой рощице, по соседству с предполагаемым местом преступления было найдено бездыханное тело Сент-Эсташа, жениха Мари.

---

[36] Примечания: 36
Адам.

Около валялась пустая склянка с надписью «Лауданум». Отравление было несомненно. Он умер, не произнеся ни слова. При нём нашли письмо, в котором он в немногих словах выражал свою любовь к Мари и намерение отравиться.

— Вряд ли нужно говорить, — сказал Дюпен, прочитав собранные мною заметки, — что этот случай гораздо запутаннее убийства на улице Морг и отличается от него в одном весьма существенном отношении. Это обыкновенное, хотя и зверское преступление. В нём нет ничего outre[37]. Заметьте, именно поэтому тайна и казалась легко разъяснимой, а между тем именно это и затрудняет её разъяснение. Так, сначала даже не считали нужным назначить вознаграждение. Подручные Г. сразу догадались, как и почему такое зверское преступление могло совершиться. Им нетрудно было нарисовать в воображении картину, даже много картин убийства и много мотивов; а так как та или иная из их многочисленных догадок могла быть осуществлена, то они решили, что одна из них и должна была осуществиться. Но самая лёгкость изобретения этих многочисленных теорий и вероятность каждой из них свидетель-

[37] Примечания: 37
Преувеличенного *(франц.)*.

ствуют о трудности разъяснения тайны. Я уже говорил как-то, что отличия данного происшествия от других событий в том же роде служат путеводной нитью для разума в его поисках и что в подобных случаях нужно спрашивать не «что случилось?», а «что случилось, чего никогда не случалось раньше?». При розысках в доме госпожи Л'Эспанэ[38] агенты Г. были обескуражены необычайностью происшествия; для хорошо направленного ума эта необычайность должна бы служить вернейшим залогом успеха, но тот же самый ум может прийти в отчаяние от обыкновенности всех обстоятельств дела Мари, даром что чиновникам префекта они внушают надежду на легкое торжество.

В происшествии с госпожой Л'Эспанэ и её дочерью мы уже знали несомненно, едва приступив к изысканиям, что имеем дело с убийством. Идея самоубийства не могла иметь места. Здесь мы тоже с самого начала можем отбросить всякую мысль о самоубийстве. Тело, найденное подле заставы Дюруль, найдено при таких обстоятельствах, которые не оставляют и тени сомнения насчёт этого важного пункта. Но было высказано

---

[38] Примечания: 38
См. «Убийство на улице Морг».

предположение, что найденное тело — вовсе не тело Мари Роже, за открытие убийцы или убийц которой назначена награда; к Мари Роже исключительно относится и наш уговор с префектом. Мы оба хорошо знаем этого господина. Ему не слишком-то можно доверять. Если, начав наши розыски по поводу мёртвого тела, мы отыщем убийцу и затем убедимся, что это труп какой-нибудь другой девушки, а не Мари, или если, предположив, что Мари жива, мы найдем её, но не в виде мёртвого тела, — вся наша работа пропадёт даром, раз мы имеем дело с таким человеком, как господин Г. Итак, в наших личных интересах, если не в видах правосудия, необходимо прежде всего убедиться, что найденное тело есть тело исчезнувшей Мари Роже.

На публику аргументы «Л'Этуаль» произвели впечатление; и сама газета убеждена в их важности, это видно по началу одной из её статей: «Сегодня многие газеты толкуют об убедительной статье в прошлом номере «Л'Этуаль». По-моему, статья убедительнее, чем это нужно. Надо помнить, что, вообще говоря, задача наших газетчиков — возбуждать сенсацию, производить эффект, а не служить делу истины. Последняя цель преследуется лишь в том случае, когда она

совпадает с первой. Статья, выражающая общее мнение (как бы оно ни было основательно), не встречает доверия в толпе. Масса считает глубоким лишь резкое противоречие господствующему мнению. В умозаключениях, как и в изящной литературе, наиболее быструю и общую оценку встречает эпиграмма. В том и другом случае это самый низменный род творчества.

Я хочу сказать, что гипотеза, согласно которой Мари Роже еще жива, нашла благоприятный приём у публики не вследствие своего правдоподобия, а благодаря тому, что в ней эпиграмма сливается с мелодрамой. Рассмотрим главные аргументы «Л'Этуаль».

Автор старается доказать, ссылаясь на краткость промежутка времени между исчезновением Мари и нахождением тела, что оно не может быть телом Мари. Стараясь уменьшить, насколько возможно, этот промежуток, автор в своём усердии сразу хватает через край. «Было бы нелепо предположить, — говорит он, — что убийство совершилось достаточно рано и убийцы успели бросить труп в воду до полуночи». Спрашивается: почему? Почему нелепо предположить, что убийство совершилось через пять минут после ухода Мари из дома? Почему нелепо предполо-

жить, что убийство совершилось в любую пору дня? Убийства случались во всяком часу. Но если бы убийство случилось в какой угодно момент между девятью часами утра и двенадцатью ночи, времени, во всяком случае, хватило бы для того, чтобы «бросить труп в воду до полуночи». Утверждения «Л'Этуаль» сводятся, в сущности, к тому, что убийство не случилось в воскресенье, но если мы допустим это, то придется допустить всё, что заблагорассудится газете. Статья, начинающаяся словами «было бы нелепо предположить…», в какой бы форме она ни вылилась, явилась в голове автора в следующей форме: «Было бы нелепо предположить, что убийство совершилось так рано, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Было бы нелепо, говорю я, предположить всё это и в то же время согласиться с мыслью, что тело не было брошено до полуночи — рассуждение, очевидно, непоследовательное, но далеко не столь нелепое, как появившееся в печати.

Если бы, — продолжал Дюпен, — моей целью было только опровергнуть статью «Л'Этуаль», я бы на этом и покончил. Но нас занимает не «Л'Этуаль», а истина. Рассуждение, о котором идёт речь, может иметь лишь одно значение, которое

я и выяснил; но для нас важно, не ограничиваясь словами, рассмотреть мысль, которую эти слова стараются (неудачно) внушить. Журналист хотел сказать: в какой бы час дня или ночи в воскресенье ни случилось убийство, виновники его не решились бы бросить тело в воду до полуночи. С этим выводом я совершенно не согласен. Предполагается, что убийство совершено в таком месте или при таких обстоятельствах, которые ставили виновника в необходимость нести тело в реку. Но убийство могло произойти на берегу реки или на самой реке, так что, случись это в любом часу дня или ночи, быстрейшим и вернейшим способом избавиться от тела было выбросить его в реку. Вы понимаете, что я отнюдь не высказываю какой-либо гипотезы или своего личного мнения. Я не занимаюсь в данном случае фактами. Я хочу только предостеречь вас против тона всей заметки «Л'Этуаль», обратив ваше внимание на её характер ex-parte[39] с самого начала.

Отмежевав таким образом границу для своих предвзятых мнений, решив, что если это тело — тело Мари, то оно могло пробыть в воде лишь очень недолго, газета продолжает:

---

[39] Примечания: 39
Односторонний *(франц.)*.

> «Опыт показал, что тела утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через шесть-десять, когда разложение достигнет значительной степени. Если даже пушка выстрелит над телом и оно всплывёт раньше пяти-шести дней, то сейчас же погрузится снова».

Эти замечания были приняты без споров всеми газетами, кроме «Монитор»[40]. «Монитор» старается опровергнуть ту часть статьи, которая относится к «телам утопленников», приведя в пример пять или шесть случаев, когда тела утонувших всплывали раньше, чем указывает «Л'Этуаль». Но попытка «Монитор» опровергнуть общее утверждение «Л'Этуаль» указанием на частные случаи — попытка совершенно не философская, не выдерживающая критики. Если бы можно было привести не пять, а пятьдесят примеров всплытия тела на второй или третий день, эти пятьдесят примеров всё-таки остались бы лишь исключением из правила до тех пор, пока самое правило не опровергнуто. Если принимать

---

[40] Примечания: 40
Нью-йоркский «Коммершиал эдвертайзер».

правило (а «Монитор» не отрицает его, указывая только на исключения), то аргументы «Л'Этуаль» сохраняют всю свою силу, ибо они имеют в виду лишь вопрос о вероятности всплытия тела в промежуток времени менее трёх дней; а вероятность останется в пользу «Л'Этуаль», пока примеры, так ребячески приводимые, не накопятся в достаточном количестве, чтобы послужить основой противоположного правила.

Вы понимаете, что оспаривать этот аргумент можно, только опровергнув самое правило; а для этого мы должны рассмотреть основание правила. Человеческое тело вообще не может быть значительно легче или значительно тяжелее воды Сены; иными словами, вес человеческого тела в его нормальном состоянии почти равен весу вытесняемого им объёма пресной воды. Тела тучных и полных особ с тонкими костями легче мужских; а удельный вес речной воды изменяется до некоторой степени под влиянием морского прилива. Но, оставив в стороне прилив, можно сказать, что лишь очень немногие человеческие тела потонут даже в пресной воде сами собою. Почти всякий, кто упадёт в воду, поплывёт, если только уравновесит удельный вес воды с весом своего тела, то есть если погрузится в воду, на-

сколько возможно, оставив на поверхности лишь самую ничтожную часть. Лучшее положение для того, кто не умеет плавать, — вертикальное, причём голова должна быть закинута назад и погружена в воду, так что только рот и ноздри остаются на поверхности. В этой позе человек будет держаться без всяких затруднений и усилий. Но ясно, что если при этом тяжесть тела и воды почти уравновешены, то безделица может дать перевес тому или другому. Так, например, рука, поднятая над водой, представляет добавочную тяжесть, достаточную для того, чтобы совершенно погрузить голову, и, наоборот, ничтожная щепка позволит приподнять голову и выглянуть на поверхность. Но в судорожных усилиях не умеющего плавать руки неизменно поднимаются над водой, и голова стремится прийти в обычное вертикальное положение. В результате ноздри и рот оказываются под водой, вода попадает в лёгкие и в желудок; тело становится тяжелее на разность между весом этой воды и вытесненного ею воздуха. Такой прибавки веса бывает достаточно, чтобы потопить тело; исключение представляют только индивидуумы с тонкими костями и большим количеством жира. Они всплывают, даже захлебнувшись.

Тело, лежащее на дне реки, останется там до тех пор, пока в силу каких-либо причин его удельный вес не сделается меньше веса вытесняемого им объёма воды. Это достигается разложением или как-нибудь иначе. Результат разложения — образование газа, который растягивает ткани и полости тела, придавая ему столь отвратительный для глаз вздутый вид. Когда это растяжение доходит до того, что объём тела увеличивается без соответственного увеличения массы или веса, удельный вес тела становится меньше веса воды и оно всплывает на поверхность. Но разложение зависит от бесчисленных обстоятельств — оно замедляется или ускоряется действием бесчисленных факторов; например, холодного или тёплого времени года, минеральных примесей или чистоты воды, её глубины, быстроты течения, сложения тела, его болезненного или здорового состояния перед смертью. Очевидно, мы не можем установить сколько-нибудь точно период, когда тело всплывёт на поверхность вследствие разложения. При известных условиях этот результат может быть достигнут через час, при других — никогда не будет достигнут. Есть химические соединения, с помощью которых животный организм может быть навсегда предо-

хранён от разложения, — например сулема. Но независимо от разложения может образоваться, и очень часто образуется, газ в желудке вследствие брожения растительных веществ (или в других полостях тела от других причин) в достаточном количестве для того, чтобы тело поднялось на поверхность. Действие сводится к простому сотрясению. Оно может или отделить тело от мягкой грязи или песка, в котором оно завязло, и таким образом позволить ему подняться на поверхность, если остальные факторы уже в достаточной степени подготовили его к этому, или преодолеть упругость тех или других гниющих тканей, вследствие чего полости тела растянутся от давления газов.

Выяснив таким образом суть явления, мы можем проверить утверждения «Л'Этуаль». «Опыт показал, — говорит газета, — что тела утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через шесть-десять, когда разложение достигнет значительной степени. Если даже пушка выстрелит над телом и оно всплывёт раньше пяти-шести дней, то сейчас же погрузится снова».

Всё это рассуждение — ряд нелепостей и непоследовательностей. Опыт показал, что тела

утопленников не требуют шести-десяти дней для того, чтобы разложение достигло достаточной степени и тело могло подняться наверх. Как наука, так и опыт доказывают, что срок всплытия не может быть точно установлен. Если, далее, тело всплывёт вследствие пушечного выстрела, то оно не «погрузится сейчас же вновь», пока разложение не дойдёт до того, что газы начнут выходить из полостей тела. Но я хочу обратить ваше внимание на различие между «телами утопленников» и «телами, брошенными в воду тотчас после убийства». Автор допускает это различие, но всё же включает оба разряда тел в одну категорию.

Я уже говорил, почему тело захлебнувшегося человека становится тяжелее, чем вытесняемый им объём воды, почему он не утонул бы вовсе, если бы в судорожной борьбе не поднимал рук над поверхностью и если бы вода не проникла ему в рот и ноздри во время дыхания. Но судорожных усилий и дыхания не может быть в теле, «брошенном в воду тотчас после убийства». Итак, в этом последнем случае тело вовсе не потонет — таково общее правило, неизвестное газете «Л'Этуаль». Когда разложение достигнет уже очень значительной степени, так что мясо отделится от костей, тогда, но не раньше, тело

исчезнет под водой.

Что же сказать теперь об аргументации, которая силится доказать, будто найденное тело — не тело Мари Роже, потому что тело Мари Роже не могло бы всплыть на поверхность в такой короткий срок? Если Мари утонула, то как женщина она могла вовсе не пойти на дно или, опустившись, всплыть через сутки, а то и скорее. Но никто не предполагает, что она утонула; а брошенное в воду после убийства тело могло быть найдено на поверхности в какой угодно следующий момент.

«Но, — говорит «Л'Этуаль», — если бы изуродованное тело было спрятано где-нибудь на берегу до ночи со вторника на среду, нашлись бы следы убийц». Смысл этой фразы затрудняешься понять сразу. Автор хочет предупредить возражение против его теории — именно, что тело пролежало на берегу два дня, подвергаясь быстрому разложению, более быстрому, чем если бы оно находилось под водой. Он предполагает, что в этом — и только в этом — случае оно могло бы всплыть на поверхность в среду. Согласно с этим, он спешит доказать, что оно не могло быть спрятано на берегу, потому что в этом случае «нашлись бы следы убийц». Полагаю, что вы сами засмеётесь над таким предположением. Вы не

можете понять, почему более долгое нахождение тела на берегу должно было умножить следы убийц. Я тоже не могу.

«И наконец, – продолжает газета, – совершенно невероятно, чтобы негодяи, совершив убийство, не догадались привязать к трупу тяжесть, когда это было так легко сделать». Заметьте, какое потешное заключение вытекает из этого соображения. Никто – ни даже сама «Л'Этуаль» – не отрицает, что над той, чьё тело найдено, было совершено убийство. Следы насильственной смерти слишком очевидны. Наш автор хотел только доказать, что это не Мари Роже. Он желает убедить читателей в том, что Мари не была убита, а не в том, что найденное тело – не труп убитой. Но его замечание доказывает только этот последний пункт. Вот тело, к которому не привязано никакой тяжести. Убийцы, бросая его в воду, привязали бы к нему тяжесть. Следовательно, оно не было брошено в воду. Если что доказано, так только это. Вопрос о тождестве даже не затронут, и «Л'Этуаль» только опровер-

гает сказанное ранее: «Мы совершенно убеждены, что найденное тело – тело убитой женщины».

Но это не единственный случай, когда автор опровергает самого себя. Его очевидная цель, как я уже заметил, — сократить, насколько возможно, промежуток времени между исчезновением Мари и нахождением тела.

Однако он же выставляет на вид обстоятельство, что никто не видал девушку с момента, когда она оставила дом матери. «Мы не имеем никаких доказательств, — говорит он, — что Мари Роже была в живых после девяти часов в воскресенье двадцать второго июня». Очевидно, это аргумент — ex-parte; автор сам забывает о нём впоследствии; ведь если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или во вторник, период исчезновения оказался бы ещё короче, и, с точки зрения автора, вероятность его взгляда на найденное тело увеличивалась бы ещё более.

Разберём теперь ту часть аргументации, которая относится к признанию тела господином Бовэ. Относительно волосков на руке «Л'Этуаль» обнаруживает крайнюю несообразительность. Не будучи идиотом, господин Бовэ не мог бы при-

знать тело лишь потому, что на руке оказались волоски. Нет руки без волосков. Общность выражения «Л'Этуаль» — просто неверное понимание слов свидетеля. Без сомнения, он имел в виду какую-нибудь особенность волосков. Особенность цвета, длины, количества, положения.

«У неё была маленькая нога», — говорит газета; но есть тысячи таких ног. Подвязка или башмак не могут служить доказательством, потому что подвязки и башмаки продаются целыми партиями. То же можно сказать о цветах на шляпке. Господин Бовэ придаёт особенное значение тому обстоятельству, что пряжка на подвязке была переставлена. Это ничего не доказывает, так как большинство женщин, купив подвязки, примеряют и в случае надобности перешивают их дома, а не в магазине. Трудно поверить, что автор рассуждает серьёзно. Если бы господин Бовэ, разыскивая труп Мари, нашёл тело, сходное по общему виду и росту с исчезнувшей девушкой, он имел бы основание предположить (оставляя в стороне вопрос об одежде), что его поиски увенчались успехом. Если вдобавок к общему сходству он замечает на руке особенные волоски, какие видел у живой Мари, его мнение подтверждается и вероятность усиливается в прямом

отношении к особенности или необычайности этой приметы. Если у Мари были маленькие ноги и у трупа оказываются такие же, вероятность увеличивается не в арифметической только, а и в геометрической прогрессии. Прибавьте сюда башмаки, такие же, как те, что были на ней в день исчезновения, и вероятность почти граничит с несомненностью. То, что само по себе не могло бы быть доказательством тождества, приобретает силу доказательства в связи с другими фактами. Если ещё прибавим сюда цветы на шляпке, такие же, как были у Мари, то больше нам ничего и не требуется. Одного цветка достаточно, а если их два, три и более? Каждый из них — умноженное доказательство, не прибавленное к другому, а умноженное на сотню, на тысячу. Если ещё на теле оказываются подвязки такие же, какие были на покойной, то почти нелепо искать новых доказательств. Но на этих подвязках пряжка переставлена именно так, как переставила её Мари незадолго до своего исчезновения. После этого сомневаться было бы безумием или лицемерием. Рассуждения «Л'Этуаль» насчёт того, что подобное перешивание подвязок — вещь весьма обыкновенная, доказывают только упрямство газеты. Эластичность подвязки — лучшее

доказательство необыкновенности подобного перешивания. То, что само собой приспособляется, должно лишь крайне редко требовать искусственного приспособления. Только случайность, в полном смысле слова, могла привести к тому, что подвязки Мари потребовалось сузить. Одного этого обстоятельства было бы достаточно для установления тождества. Но тут идёт речь не о том, что на теле оказались подвязки пропавшей девушки, или её башмаки, или её шляпка, или её цветы на шляпке, или её нога, или её примета на руке, или её рост и склад, а о том, что найденное тело соединяло все и каждый из этих признаков. Если бы можно было доказать, что издатель «Л'Этуаль» при таких обстоятельствах действительно сомневался, то не нужно бы и назначать для него комиссии de lunatico inquirendo[41], чтобы признать сумасшедшим. Он просто нашёл остроумным повторять болтовню законников, которые в большинстве случаев довольствуются прямолинейностью общих судейских правил. Замечу здесь, что нередко самое убедительное и разумное доказательство отвергается судом. Ибо суд, руководствуясь общими принципами доказа-

[41] Примечания: 41
Для проверки умственных способностей *(лат)*.

тельства, признанными и книжными, неохотно пускается в рассмотрение частных случаев. И эта приверженность к теории и принципу — в связи с упорным отвращением к исключительному случаю — верный способ достижения максимума истины в течение значительного периода времени. Так что в массе эта практика весьма философична, но она же приводит к грубым единичным ошибкам[42].

Инсинуации насчёт господина Бовэ недолго опровергнуть. Вы, конечно, уже раскусили натуру этого добродушного джентльмена.

Это хлопотун — с романтической жилкой, но малым запасом остроумия! Такой человек в случае действительного волнения всегда будет вести себя так, что может возбудить подозрение со стороны чересчур тонких или недоброжелательных людей. Господин Бовэ (как видно из собранных вами заметок) имел личное объяснение с издателем «Л'Этуаль» и задел его за живое, решившись сказать, что, несмотря на все

---

[42] Примечания: 42

Законодательство всякой нации показывает, что когда закон становится наукой и системой, то он перестаёт быть правосудием. Ошибки, к которым слепая преданность принципам классификации приводила закон, станут очевидны, если мы обратим внимание, как часто законодательная власть должна вступаться и восстанавливать правосудие, им нарушенное *(Лэндор).*

гипотезы издателя, тело-то очевидно Мари. «Он настаивает, — говорит газета, — что тело — Мари Роже, но не приводит никаких доказательств, кроме уже разобранных нами и убедительных для других». Не возвращаясь к тому, что более сильных доказательств и представить себе нельзя, заметим, что в подобном случае человек часто бывает убеждён сам, не имея доказательств для убеждения других. Нет ничего неопределённее личных впечатлений. Каждый узнает своего соседа, но лишь в редком случае объяснит почему, на каком основании признал он его за своего соседа. Издателю «Л'Этуаль» нечего было упрекать господина Бовэ его необоснованной уверенностью.

Подозрительные обстоятельства, набрасывающие на него тень, гораздо более вяжутся с моей гипотезой романтической суетливости, чем с намёками автора статьи. Приняв моё более снисходительное объяснение, мы легко поймём и розу в замочной скважине, и имя «Мари» на доске, и «устранение родственников», и «нежелание допускать их к телу», и просьбу, чтобы госпожа Б. не объяснялась с жандармом до его (Бовэ) возвращения, и, наконец, его решение: никто, кроме него, не должен мешаться в следствие. Для меня несомненно, что Бовэ был обожателем Мари, что она

с ним кокетничала и что он гордился её дружбой и доверием, которыми, как ему казалось, пользовался в полной мере. Не буду распространяться об этом, и так как следствие совершенно опровергает утверждения «Л'Этуаль» насчёт равнодушия родных и матери — непонятного в том случае, если они узнали тело, — то мы и будем считать вопрос о тождестве решённым в нашем смысле.

— А что вы думаете, — спросил я, — о мнении «Коммерсьель»?

— Они заслуживают большего внимания, чем все остальные статьи по этому делу. Выводы логичны и остроумны, но предпосылки, по крайней мере в двух случаях, основаны на односторонних наблюдениях. «Коммерсьель» доказывает, что Мари была схвачена шайкой негодяев подле дома матери. «Особа, известная тысячам людей в этой местности, — рассуждает газета, — не могла бы и трёх шагов ступить, не будучи узнанной». Это представление человека, давно живущего в Париже, занимающего видное общественное положение, который, выходя из дома, посещает большею частью одни и те же учреждения. Он знает, что ему редко случается отойти на десять шагов от своей редакции и не повстречать кого-нибудь из знакомых. И вот он

сравнивает свою известность с известностью девушки из парфюмерного магазина, не находит тут особенного различия и решает, что она во время своей прогулки должна так же часто натыкаться на знакомых, как он. Это могло бы быть лишь в том случае, если бы её прогулки имели такой же неизменный, методический характер, так же ограничивались бы известным районом. Человек выходит в определённые часы, прогуливается в известной части города, изобилующей лицами, связанными с ним общностью профессиональных занятий. Но прогулки Мари имели случайный характер. В данном случае она, вероятно, отправилась по другой дороге, чем обыкновенно. Параллель, которая, как я думаю, явилась у автора статьи, могла бы иметь основание лишь в случае прогулки этих двух лиц через весь город. В этом случае, если число знакомых у них одинаково, шансы встречи с одним и тем же числом знакомых тоже одинаковы. По-моему, не только возможно, но и более чем вероятно, что Мари могла в любое время пройти любым путём, соединяющим дом её матери с домом тётки, не встретив ни одной знакомой души. Разбирая этот вопрос при надлежащем освещении, необходимо иметь в виду громадную непропорциональность

между числом знакомых самого известного лица в Париже и всем парижским населением.

Тем не менее доводы «Коммерсьель» кажутся не лишёнными убедительности; но эта убедительность значительно ослабеет, если мы примем в соображение час ухода Мари из дома. «Когда она уходила из дома, — говорит «Коммерсьель», — улицы были полны народа». Это неверно. Она ушла в девять часов утра. В девять часов утра улицы действительно полны народа все дни, кроме воскресенья. По воскресеньям в девять часов народ дома, готовится идти в церковь. Всякий сколько-нибудь наблюдательный человек не может не заметить, как пусты городские улицы в воскресенье между восемью и десятью часами утра. Между десятью и одиннадцатью они снова наполняются, но между десятью и одиннадцатью, а не в то время, о котором идёт речь.

Можно указать ещё один пункт, в котором проявился недостаток наблюдательности со стороны «Коммерсьель». «Из юбки несчастной девушки, — говорит газета, — был вырван лоскут в два фута длиной и фут шириной и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков». Насколько эта мысль основа-

тельна, мы ещё увидим; но под «людьми, которые обходятся без носовых платков» автор разумеет самый низменный слой негодяев. Между тем у этих именно субъектов если не всегда найдётся рубашка, непременно сыщется носовой платок. Вы должны были сами заметить, насколько необходимым сделался в последние годы носовой платок для уличного мошенника.

— А что вы думаете о статье «Ле Солей»? — спросил я.

— Я сожалею, что автор не родился попугаем, так как в качестве попугая он снискал бы себе блистательную славу. Ведь он лишь подвёл общий итог уже высказанным мнениям, собрав их с похвальным прилежанием отовсюду. «Вещи, очевидно, лежали здесь по меньшей мере три или четыре недели, — говорит он. — Нет сомнения — место, где совершено это гнусное преступление, найдено». Факты, приведённые газетой, отнюдь не уничтожают моих сомнений на этот счёт, мы разберём их впоследствии, в связи с другими обстоятельствами дела. Теперь нам нужно самим исследовать некоторые пункты. Вы, конечно, обратили внимание, как небрежно произведён осмотр тела. Да, тождество установлено, но следовало выяснить ряд других обстоятельств.

Было ли тело ограблено? Были ли на покойной какие-нибудь драгоценности в день, когда она ушла из дома? И если были, оказались ли они на трупе? Эти важные вопросы совсем не затронуты следствием; да и другие, не менее важные, оставлены без внимания. Рассмотрим их сами. Исследуем ещё раз обстоятельства, касающиеся Сент-Эсташа. У меня нет подозрений на его счёт, но будем действовать методически. Мы проверим показания, удостоверяющие, где он находился в воскресенье. В подобного рода показаниях мистификация — вещь весьма обыкновенная. Если же всё окажется в порядке, то мы на этом и покончим с Сент-Эсташем. Его самоубийство, которое придало бы большую силу подозрениям в случае обнаружения обмана в упомянутых показаниях, вполне объяснимо, если обмана нет.

Я намерен теперь оставить в стороне внутренние элементы трагедии и сосредоточиться на внешних обстоятельствах. При исследованиях этого рода нередко делают ошибку, ограничиваясь прямыми фактами и не обращая внимания на побочные или второстепенные обстоятельства. Судебная практика суживает исследование пределами фактов, непосредственно относящихся к делу. Но опыт показал, и истинно философское

мышление подтверждает это, что значительная, если не большая часть истины вытекает из фактов, по-видимому, не относящихся к делу. Подчиняясь духу этого принципа, современная наука разрешает рассчитывать на непредвиденное. Но вы, быть может, не понимаете меня. Вся история науки показывает, что побочным, случайным, нечаянным обстоятельствам мы обязаны многочисленными и наиболее ценными открытиями. Это проявляется до того неизменно, что теперь во всех соображениях о будущем приходится отводить не только важное, но важнейшее место изобретениям, которые возникают случайно и совершенно неожиданно. Теперь философия не позволяет ограничивать возможность грядущего уже бывшим. Случай допускается как часть оснований. Нечаянное становится объектом точного вычисления. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое математическим формулам.

Повторяю, это факт: значительнейшая часть истины открывается из побочных обстоятельств, и, согласно духу этого принципа, я оставляю избитую и бесплодную почву самого события и обращаюсь к окружающим обстоятельствам. Займитесь делом Сент-Эсташа, а я переберу газетные сведения с более общей точки зрения, чем это

сделали вы. Пока мы определили поле исследования, но странно было бы, если бы внимательный пересмотр газет не открыл нам каких-нибудь мелочей, которые укажут направление исследования.

Согласно желанию Дюпена, я самым тщательным образом проверил показания относительно Сент-Эсташа. Результатом было полное убеждение в их истине и, следовательно, в его невиновности. Тем временем друг мой просматривал газетные столбцы с мелочною и, как мне казалось, бесцельною тщательностью. Через неделю он показал мне следующие вырезки:

«С полгода тому назад подобная же суматоха была вызвана внезапным исчезновением Мари Роже из парфюмерного магазина господина Леблана в Пале-Рояле. Однако спустя неделю она появилась за конторкой, здоровая и невредимая, только более бледная, чем обыкновенно. Господин Леблан и её мать заявили, что она попросту гостила у своих друзей в деревне. На том дело и кончилось. Мы полагаем, что теперешнее исчезновение такого же рода и что спустя неделю, может быть, месяц она снова окажется среди нас».

***«Вечерняя газета»*[43].**
Понедельник, 23 июня.

---

[43] Примечания: 43
Нью-йоркский «Express».

«Вчера одна вечерняя газета указала на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Доказано, что во время своей отлучки из парфюмерного магазина Леблана она находилась в обществе одного молодого моряка, весьма известного своим дурным поведением. Предполагают, что ссора заставила её вернуться домой. Нам известна фамилия этого господина, он находится в настоящее время в Париже, но по весьма понятным причинам мы не считаем возможным его назвать».

***«Вестник»*[44].**
Вторник, утро, 24 июня.

---

[44] Примечания: 44
Нью-йоркский «Herald».

«Третьего дня в окрестностях города произошёл случай возмутительного насилия. Господин с женой и дочерью предложил компании молодых людей человек в шесть, бесцельно болтавшихся в лодке у берега Сены, перевезти его на другую сторону за известное вознаграждение. Достигнув противоположного берега, трое пассажиров вышли и уже успели отойти на такое расстояние, что лодки не было видно, когда дочь хватилась своего зонтика. Вернувшись за ним к лодке, она была схвачена шайкой и отвезена на середину реки; там подвергли её грубому насилию, затем высадили на берег недалеко от того места, где она вошла в лодку с родителями. Негодяям удалось скрыться, но полиция напала на след, и некоторые из шайки вскоре будут арестованы».

***«Утренняя газета»*[45].**
28 июня.

---

[45] Примечания: 45
Нью-йоркский «Courier and Inquirer».

«Мы получили два-три сообщения, цель которых – взвалить обвинение в недавнем преступлении на Меннэ[46]; но так как следствие не нашло никаких данных к его обвинению, а аргументация наших корреспондентов отличается больше усердием, чем основательностью, то мы не считаем нужным печатать их».

«Утренняя газета».
28 июня.

«Мы получили несколько весьма энергично написанных сообщений от разных лиц, старающихся доказать, что несчастная Мари Роже сделалась жертвой шайки негодяев, которыми кишат окрестности города. Лично мы вполне присоединяемся к этому мнению. Некоторые из сообщений будут напечатаны».

«Вечерняя газета»[47]**.**

---

[46] Примечания: 46

Меннэ был одним из заподозренных арестованных, но отпущенных вследствие полного отсутствия улик.

[47] Примечания: 47

Нью-йоркский «Evening Post».

Вторник, 31 июня.

> «В понедельник один из лодочников, служащих в речной полиции, заметил лодку, плывшую вниз по Сене. Парус оказался на дне лодки. Она была поймана и привязана на пристани».

***«Дилижанс»*[48].**
Четверг, 26 июня.

Прочитав эти вырезки, я решительно не мог понять, что можно из них выжать для нашего дела. Я ждал объяснений Дюпена.

— Не буду останавливаться на первой и второй заметке, — сказал он. — Я вырезал их лишь для того, чтобы показать вам крайнюю небрежность полиции, которая, насколько я мог понять из слов префекта, не потрудилась даже навести справки об этом моряке. А между тем было бы нелепо отрицать возможность связи между первым и вторым исчезновением. Допустим, что в первый раз побег кончился ссорой между любовниками и возвращением девушки. Это даёт возможность предположить, что вторичный побег (раз мы знаем, что он действительно имел место) был

---

[48] Примечания: 48
Нью-йоркский «Standard».

вызван возобновлением ухаживаний со стороны прежнего обожателя, а не со стороны другого лица, что тут возрождение старой любви, а не возникновение новой. Тот, кто сманивал Мари в первый раз, попытался сманить вторично — десять шансов против одного, что побег произошёл именно так, а не иначе. Позвольте мне также обратить ваше внимание на промежуток времени между первым и вторым исчезновением; он почти совпадает с обычным сроком плавания наших военных судов. Быть может, низкие замыслы любовника были прерваны плаванием, а вернувшись, он немедленно принялся приводить их в исполнение. Обо всём этом мы ничего не знаем.

Вы скажете, пожалуй, что во втором случае вовсе не было побега. Конечно, но можем ли мы быть уверены, что он не замышлялся? Кроме Сент-Эсташа и, может быть, Бовэ, мы не знаем открытых, признанных, честных обожателей Мари. О других не было слышно. Кто же этот тайный обожатель, о котором родные (по крайней мере большинство их) ничего не знают, который встречает Мари в воскресенье утром и оказывается таким близким её другом, что она остаётся с ним до вечера в уединённых рощах заставы Дюруль? И что означает странное пророчество

госпожи Роже: «Боюсь, что мне не придётся больше увидеть Мари»?

Но если мы не можем заподозрить госпожу Роже в соучастии, то можем, по крайней мере, предположить, что план побега был у девушки. Уходя из дома, она сказала, что идёт к тётке на улицу Дром. Сент-Эсташ должен был прийти за ней. Это как будто говорит против моего предположения, но обсудим вопрос. Мы знаем, что она встретилась со своим знакомым и отправилась с ним через реку к заставе Дюруль около трёх часов пополудни. Но, решившись сопровождать этого господина (ради каких-то целей, известных или неизвестных матери), она должна была подумать об удивлении и подозрениях своего жениха Сент-Эсташа, когда он не застанет её у тётки, а вернувшись в пансион, узнает, что она целый день не была дома. Она не могла бы пренебречь этими подозрениями по возвращении домой; но они теряли для неё всякое значение, раз она решила не возвращаться.

Можно представить себе ход её мыслей так: «Мне нужно видеть известное лицо с целью побега или с какими-нибудь иными целями; необходимо выиграть время; скажу, что я намерена провести день у тётки на улице Дром и

чтобы Сент-Эсташ не приходил за мной до вечера; таким образом, моё отсутствие не возбудит ни в ком подозрения или беспокойства, и я выиграю больше времени этим способом, чем каким бы то ни было. Если я попрошу Сент-Эсташа прийти за мной вечером, он, конечно, не придёт раньше, но если я ничего не скажу, меня будут ожидать домой к вечеру и моё отсутствие возбудит беспокойство. Но так как я не намерена возвращаться вовсе, или, по крайней мере, в течение нескольких недель, или до тех пор, пока не осуществятся какие-то секретные планы, то для меня и требуется только выиграть время».

Вы обратили внимание, читая газетные заметки, что общее мнение приписывает убийство шайке негодяев. Это заслуживает внимания. Если бы такое мнение возникло само собой, появилось самопроизвольно, мы бы должны были считать его подобным вдохновению гениальной личности. В девяносто девяти случаях из ста я бы преклонился перед ним. Но для этого нужно быть уверенным, что мнение не было внушено. Оно должно быть, безусловно, собственным мнением публики, а это порою весьма трудно установить или доказать. В настоящем случае мне кажется, что «мнение публики» насчёт шайки подсказано

побочным обстоятельством, о котором трактует третья из моих вырезок. Париж взволнован находкой тела Мари — молодой девушки, известной красавицы. Тело найдено с признаками насилия в реке. Затем узнают, что в то время или около того времени, когда Мари была убита, подобное же насилие учинено шайкой негодяев над другой девушкой. Мудрено ли, что известие об этом новом преступлении повлияло на суждение публики о первом? Это суждение ещё не сформировалось, не получило определённого направления; известие о новом насилии дало ему толчок! Мари найдена в реке, а на этой же самой реке заведомо совершилось насилие. Связь между двумя событиями настолько осязаема, что было бы истинным чудом, если бы публика не схватилась за неё. В действительности же факт насилия, совершившийся известным образом, если и доказывает что-нибудь, так разве то, что другое насилие, почти совпадающее с первым по времени, совершилось иначе. В действительности было бы чудом, если бы рядом с одной шайкой негодяев, совершивших почти неслыханную гнусность, нашлась вторая такая же шайка — в той же местности, в том же городе и при тех же обстоятельствах, с теми же приёмами,

совершившая такую же гнусность почти в то же самое время! И случайно внушённое мнение публики требует, чтобы мы поверили именно такому чудесному совпадению обстоятельств.

Прежде чем идти дальше, представим себе предполагаемую сцену убийства в рощице близ заставы Дюруль. Эта рощица, хотя и густая, находится в близком соседстве с большой дорогой. Внутри оказались три или четыре больших камня, сложенные в виде стула со спинкой и сиденьем. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором — шёлковый шарф. Зонтик, перчатки и платок валялись на земле. На платке вышито имя: «Мари Роже». На соседних кустах оказались обрывки платья. Земля была истоптана, кусты изломаны — очевидно, тут происходила отчаянная борьба.

Несмотря на единодушное мнение прессы, что здесь-то, в рощице, и совершилась сцена насилия, в этом позволительно усомниться. Я могу верить или не верить, что она произошла здесь, но, во всяком случае, есть сильный повод к сомнению. Допустим, что сцена произошла, как предположил «Коммерсьель», по соседству с улицей Сент-Андре; виновники преступления должны были ужаснуться, видя, что общественное мнение

направлено на истинный след; в таких случаях у известного рода людей является желание как-нибудь замести следы. Весьма естественно могла явиться мысль подбросить вещи покойной в рощу близ заставы Дюруль, местности уже заподозренной. Нет никаких доказательств (хотя «Ле Солей» это думает), что вещи пролежали в роще «три-четыре недели»; напротив, весьма сомнительно, чтобы они могли остаться незамеченными в течение двадцати дней, истёкших со времени рокового воскресенья, вплоть до того дня, когда были найдены мальчиками. «Все они были покрыты плесенью, — говорит «Ле Солей», повторяя уже сказанное ранее. — Некоторые заросли травой. Шёлковая материя зонтика была ещё крепка, но нитки совершенно истлели. Верхняя часть покрылась плесенью и ржавчиной и порвалась, когда попробовали открыть зонтик». Что касается травы, которой «заросли некоторые вещи», то это могло быть установлено лишь на основании воспоминаний двух маленьких мальчиков, которые подобрали и унесли вещи домой. Но трава, особенно в тёплую и сырую погоду (какая и стояла во время убийства), в один день вырастает на два, на три дюйма. Зонтик, оставленный на свежескошенном лугу, может в

неделю зарасти так, что его не будет видно. Что касается плесени, на которой так настаивает «Ле Солей», то неужели газете неизвестно, что это такое? Нужно ли объяснять, что плесень принадлежит к классу грибков, большинство которых вырастает и разрушается в один день?

Итак, мы с первого взгляда видим, что столь торжественно приводимые доказательства долгого нахождения вещей в рощице решительно ничего не доказывают. С другой стороны, крайне трудно предположить, чтобы эти вещи могли оставаться в рощице более недели, более промежутка времени от воскресенья до воскресенья. Всякий, кто знаком с окрестностями Парижа, знает, как трудно найти в них уединение. Неизвестный или даже редко посещаемый уголок в близком соседстве с городом — вещь решительно непредставимая. Пусть любитель природы, прикованный к пыли и духоте этой великой столицы, пусть он даже в будни попробует утолить свою жажду уединения в пригородных парках и рощах. На каждом шагу очарование будет нарушено голосами, появлением каких-нибудь фланёров или бродяг. Напрасно искать уединения и в самой густой чаще. Здесь притоны неумытой черни, здесь храм природы наиболее осквернён. И наш пари-

жанин с тоской в сердце вернётся в запылённый людный Париж — в самом городе пыль и толпа не производят такого впечатления, как среди природы. И это в будни. Что же делается в воскресенье? Свободная от работы и обычных занятий толпа устремляется за город; не ради природы — к ней она равнодушна, — а чтобы избавиться от стеснений и условностей города. Ей нужен не деревенский воздух и трава, а деревенская распущенность. Здесь, в каком-нибудь кабачке или под деревьями, эти люди предаются необузданному неестественному веселью — вольничают и напиваются. Итак, всякий беспристрастный наблюдатель согласится, что вещи Мари, оставшиеся три недели незамеченными в любой роще около Парижа, — это было бы нечто чудесное.

Но есть и другие обстоятельства, которые заставляют думать, что вещи были подброшены в рощицу для отвода глаз. Во-первых, обращу ваше внимание на день нахождения вещей. Сопоставьте его с днём появления пятой из собранных мною газетных заметок. Вы убедитесь, что находка последовала почти непосредственно за сообщениями, присланными в газету. Эти сообщения, хотя и различные и, по-видимому, идущие из различных источников, стремятся к

одной цели: доказать, что злодеяние совершено шайкой негодяев в окрестностях заставы Дюруль. И возникает подозрение — не то, конечно, что вещи найдены мальчиками вследствие этих сообщений или возбуждённого ими внимания публики, а что вещи не были найдены мальчиками раньше, потому что никаких вещей в роще не было и в рощу они подброшены самими преступниками одновременно или почти одновременно с посылкой сообщений, авторы которых — те же преступники.

Роща эта странная, крайне странная. Она очень густа. В ней оказались три камня, сложенные в виде стула с сиденьем и спинкой. И эта рощица находилась в непосредственном соседстве, в нескольких шагах от жилища госпожи Делюк, ребятишки которой привыкли лазить по кустарникам. Да я готов голову прозакладывать, что не проходило дня без того, чтобы кто-нибудь из мальчиков не забирался в рощицу посидеть на этом троне. Кто сомневается, тот никогда не был мальчиком или забыл свои детские годы. Повторяю, нельзя понять, как могли вещи остаться незамеченными более одного-двух дней, стало быть, есть полное основание думать, вопреки невежеству «Ле Солей», что они были подброше-

ны позднее.

Но я ещё не привёл наиболее сильных основ для такого подозрения. Позвольте мне обратить ваше внимание на крайне искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором — шёлковый шарф; кругом были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с именем «Мари Роже». Вот размещение, какое, естественно, устроил бы не особенно сообразительный человек, пожелавший расположить вещи естественно. Но в действительности это отнюдь не естественное расположение. Я бы скорее ожидал найти все вещи на земле, истоптанные ногами. В тесной рощице юбка и шарф вряд ли остались бы на камнях при отчаянной борьбе нескольких лиц. «Очевидно, здесь происходила борьба, — сказано в газете. — Земля была притоптана, кусты поломаны, а юбка и шарф лежали точно на полке! Лоскутья одежды, длиной в шесть и шириной в три дюйма, висели на кустах. Один из них — обрывок оборки. Они имели вид вырванных кусков». Тут «Ле Солей» нечаянно употребила крайне двусмысленную фразу. Лоскутья действительно «имеют вид вырванных кусков», но вырванных нарочно, человеческой рукой. Крайне редко случается, чтобы лоскут был вы-

рван из платья сучком. Сучок или гвоздь, зацепив материю, разрывает её по двум линиям, сходящимся в вершине разрыва, под прямым углом одна к другой, но вряд ли можно себе представить кусок, «вырванный» таким образом. Я никогда не видал этого, вы тоже. Чтобы вырвать кусок, необходимо приложить две различные силы, действующие в различных направлениях. Если вещь представляет два края — если, например, это носовой платок, от которого нужно оторвать лоскут, — тогда, и только тогда, достаточно будет одной силы. Но в данном случае речь идёт о платье, у которого имеется лишь один край. Вырвать кусок изнутри, где вовсе нет краёв, сучки могли разве чудом; во всяком случае, один сучок не мог бы сделать этого. Но даже там, где имеется край, необходимы два сучка, причём один должен действовать по двум различным направлениям, другой — по одному. Это если край без оборки. С оборкой же дело ещё усложняется. Вот какие многочисленные и серьёзные препятствия не позволяют допустить, чтобы хоть один лоскут был вырван сучками; а нас хотят уверить, что таким образом вырваны два лоскута. «Один из них был куском оборки платья!» Другой — «часть подола, без оборки», — иными словами, он вы-

рван из середины платья, где вовсе нет краёв! Трудно поверить, но даже все эти обстоятельства, вместе взятые, не стоят одного поразительного факта: вещи были брошены убийцами, у которых, однако, хватило предусмотрительности стащить труп в реку. Я, впрочем, вовсе не думаю отрицать, что преступление совершилось именно в этой рощице: я вовсе не к тому веду речь. Да и не в этом суть дела. Нам нужно открыть виновников убийства, а не место преступления. Всё, что я говорил, сказано с целью, во-первых, доказать нелепость решительных и необдуманных утверждений «Солей», а во-вторых, и самое главное, привести вас наиболее естественным путём к дальнейшему рассмотрению вопроса: совершено убийство шайкой негодяев или нет.

Мы ограничимся простым упоминанием о возмутительных деталях, обнаруженных медицинским осмотром. Заметим только, что показания врача о числе негодяев были по справедливости осмеяны лучшими парижскими анатомами как неправильные и решительно ни на чём не основанные. Не то чтобы дело не могло происходить так, как это утверждается, но для утверждений-то этих нет ни малейшего основания.

Обратимся к следам борьбы. О чём они свиде-

тельствуют, по мнению газет? О шайке злодеев. Но не свидетельствуют ли они скорее об отсутствии шайки? Могла ли быть борьба — настолько отчаянная и продолжительная, что от неё остались следы во всех направлениях, — между слабой беззащитной девушкой и шайкой негодяев? Несколько сильных рук схватывают её — и всё кончено. Жертва не в силах шевельнуться. Имейте в виду, что мои аргументы направлены главным образом против предположения, будто роща служила местом действия нескольких злодеев. Но если мы представим себе одного негодяя, то, конечно, можем согласиться, и только в этом случае можем согласиться, что борьба была упорной и продолжительной и оставила явственные следы.

Далее. Я уже говорил, как невероятен самый факт пребывания вещей на месте преступления. Почти невозможно представить себе, чтобы эти вещественные доказательства злодейства были случайно забыты преступниками. Хватило же у них присутствия духа перетащить тело; а более наглядное доказательство, чем труп (черты которого быстро исказились бы вследствие разложения), было брошено без внимания: я разумею платок с именем покойной. Если это и случайная

оплошность, то не оплошность шайки. Подобная оплошность возможна только со стороны отдельного лица. Разберём этот случай. Человек совершил убийство. Он один перед трупом своей жертвы. Он в ужасе смотрит на то, что неподвижно лежит перед ним. Бешенство страсти остыло, душа его полна ужасом. У него нет товарищей, присутствие которых придало бы ему бодрости. Он наедине с трупом. Он дрожит и теряется. Надо же, однако, что-нибудь предпринять. Он решается стащить тело в реку, но оставляет другие улики; разом всего не захватишь, а за вещами нетрудно вернуться. Но по пути к воде его ужас растёт. Звуки жизни бросают его в дрожь. Не раз и не два ему чудятся чьи-то шаги. Даже огни в городе пугают его. Наконец после долгих усилий, частых остановок, в агонии смертельного ужаса он достигает берега и отделывается от своей ужасной ноши — быть может, с помощью лодки. Но теперь какие сокровища в мире, какие угрозы заставят его вернуться тем же ужасным и опасным путём к роще, при воспоминании о которой кровь стынет у него в жилах? Он не возвращается, махнув рукой на последствия. Он не мог бы вернуться, если бы захотел. У него одна мысль — бежать без оглядки. Он отворачивается

навсегда от ужасного места и бежит, как будто за ним гонится мщение.

Другое дело — шайка негодяев. Их численность поддерживает в них присутствие духа — если только присутствие духа может исчезнуть у профессионального негодяя (шайка всегда состоит из профессиональных негодяев). То, что их много, говорю я, не позволило бы им растеряться, они не поддались бы паническому страху. Оплошность одного, другого, третьего была бы исправлена четвёртым. Они не оставили бы ничего за собою, ведь они могли бы унести всё разом. Им не было надобности возвращаться.

Теперь обратим внимание на то обстоятельство, что из её платья была выдрана полоса шириною в фут, от оборки до талии, обмотана три раза вокруг последней и завязана на спине в виде петли. Это сделано, очевидно, для того, чтобы легче было тащить тело. Но зачем бы понадобилось такое приспособление для шайки?

Тем четырём гораздо легче и проще нести тело за ноги и за руки. Это приспособление для одного человека. Далее: «Между рощей и рекой изгородь была сломана, и на почве сохранились следы тяжести, которую по ней тащили!» Но разве несколько человек стали бы возиться с изгоро-

дью, когда им ничего не стоило перекинуть через неё тело? Несут ли несколько человек так, чтобы оставались ясные следы?

Здесь мы должны вернуться к замечанию «Коммерсьель», о котором я уже упоминал. «Из юбки несчастной девушки, — говорит газета, — был вырван лоскут и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков».

Я уже говорил, что записной бродяга никогда не обходится без носового платка. Но теперь я имею в виду не это обстоятельство. Что узел, о котором идёт речь, сделан не вследствие отсутствия носового платка, доказывает платок, найденный в роще. И не для того сделан, чтобы «заглушить крики», — этого можно было достигнуть более удобным способом. В протоколе сказано, что лоскут «был свободно обмотан вокруг шеи и завязан тугим узлом». Слова не особенно точные, но уж совсем не подходящие к заявлению «Коммерсьель». Повязка в восемнадцать дюймов шириной; стало быть, хотя и кисейная, но довольно крепкая, в особенности если свернуть или сложить её в длину. А она была свёрнута. Мой вывод таков: одинокий убийца, оттащив тело на известное

расстояние с помощью полосы, вырванной из платья и обмотанной вокруг талии, убедился, что тяжесть ему не по силам. Тогда он решил волочить тело — следы показывают, что его действительно волочили. Для этого нужно было привязать что-нибудь вроде верёвки к одной из конечностей. Он решил лучше обвязать шею — так, чтобы голова мешала соскочить повязке. Без сомнения, его первая мысль была воспользоваться лоскутом, обмотанным вокруг талии, но тут приходилось развязывать петлю, да и лоскут не был оторван. И он решил оторвать ещё лоскут от юбки. Сделав это, он обмотал шею и волочил труп до самой реки. То, что эта повязка, потребовавшая лишних хлопот и не особенно удобная, была употреблена, доказывает справедливость моего мнения: платка в это время не было под рукой, мысль о повязке явилась уже на пути между рощей и рекой.

Но, скажете вы, в показании госпожи Делюк (!) упоминается о шайке бродяг, находившихся по соседству с рощей во время убийства или около этого времени. Это я допускаю. Я думаю даже, что по соседству с заставой Дюруль во время убийства или около этого времени шаталась по меньшей мере дюжина таких шаек. Но лишь одна из них,

та, против которой обращено несколько запоздалое показание госпожи Делюк, напившись водки и наевшись пирогов этой почтенной старушки, не потрудилась уплатить за угощение. Et hinc illae irae?[49]

В чем же, собственно, состоит обвинение госпожи Делюк? Шайка сорванцов явилась в трактир, шумела, пила и ела, ничего не заплатила, ушла в том же направлении, в котором скрылись молодой человек и девушка, вернулась в сумерки и поспешно переправилась через реку.

Эта поспешность, вероятно, показалась особенно поспешной госпоже Делюк, с тоскливой горечью вспоминавшей об истреблённых закусках и пиве, за которые, быть может, она ещё смутно надеялась получить деньги. Почему, в самом деле, раз это было уже в сумерки, её так поразила эта поспешность? Нет ничего удивительного, что даже шайка сорванцов торопится домой, когда нужно переплыть в лодке большую реку, а надвигается гроза и наступает ночь. Я говорю «наступает», потому что ночь ещё не наступила.

Были ещё только сумерки, когда неприличная

---

[49] Примечания: 49
Не отсюда ли этот гнев? *(лат.)*

поспешность сорванцов возмутила добродетельную душу госпожи Делюк. Но далее говорится, что госпожа Делюк и её старший сын «слышали крики недалеко от гостиницы». Когда же это случилось? «Это случилось вскоре после наступления темноты», — говорит она. Но «вскоре после наступления темноты» — темно; а в сумерки ещё светло. Очевидно, шайка сорванцов покинула заставу Дюруль прежде, чем раздались крики, слышанные госпожой Делюк. И хотя в многочисленных заметках об этом показании все его данные приводились в том же порядке и связи, как я их разобрал, никто из журналистов или полицейских не обратил внимания на эти противоречия.

Я прибавлю ещё лишь один аргумент против версии о шайке, но и этот один, по моему мнению, неопровержим. Вспомним о высокой награде и обещании помилования, можно ли думать, чтобы в шайке низких негодяев и вообще в толпе людей не нашёлся хоть один человек, который уж давно выдал бы своих соучастников? Если не награда, то опасение быть выданным побудили бы к тому. Каждый член шайки выдал бы других, чтобы не выдали его самого. Если же тайна до сих пор не разоблачена, значит, это действительно тайна.

Ужасы этого мрачного злодеяния известны лишь одному или двум людям и Богу.

Подведём теперь окончательный итог нашему долгому анализу. Роковое преступление совершено под кровлей госпожи Делюк или в рощице близ заставы Дюруль любовником, во всяком случае близким приятелем покойной. Это человек смуглый, загорелый. Цвет лица, петля на повязке и морской узел, которым завязаны ленты шляпки, указывают на то, что он моряк. Его дружба с покойной, девушкой весёлого нрава, но честной, заставляет думать, что это не простой матрос. Хорошо написанные и убедительные сообщения, полученные газетой, подтверждают это. Обстоятельства первого побега, указанные «Вестником», наводят на мысль, что этот моряк и «морской офицер», сманивавший несчастную девушку, — одно и то же лицо.

Мой вывод подтверждается упорным отсутствием этого смуглого господина. Замечу, что он должен быть и смуглым, и загорелым — обыкновенный загар не врезался бы так в память госпожи Делюк и Валенса, которые, однако, запомнили одну эту особенность. Но почему он не явился? Не убит ли он шайкой? В таком случае почему найдены следы только убитой девушки?

Место совершения обоих преступлений должно было бы быть одно и то же. И куда девался его труп? По всей вероятности, убийцы распорядились бы одинаково с обоими телами. Вы скажете, пожалуй, что этот человек жив, но не является, боясь навлечь на себя подозрение в убийстве. Такое опасение могло бы явиться у него теперь, когда выяснилось, что его видели с Мари, но не тотчас после убийства. Первым побуждением невинного человека было бы сообщить всё, что ему известно, и помочь изобличению негодяев. Эта предосторожность напрашивалась сама собою. Его видели с девушкой. Он перевёз её через реку в лодке. Даже идиоту понятно, что при таких обстоятельствах лучшее средство отклонить от себя подозрение — донести на убийц. Невозможно себе представить, чтобы в это роковое воскресенье он и не знал об убийстве, и не участвовал в нём. Но только в этом случае он мог не донести на злодеев.

Какими же путями доберёмся мы до истины? Вы убедитесь, что пути будут умножаться и становиться яснее по мере того, как мы станем подвигаться вперёд. Исследуем подробно обстоятельства первого побега. Разузнаем хорошенько о «морском офицере»: как он поживает теперь

и где находился во время убийства? Тщательно сравним различные сообщения, присланные в вечернюю газету и приписывающие преступление шайке. Затем так же тщательно сравним эти сообщения, их слог и почерк, с теми, которые посланы раньше в утреннюю газету и так упорно настаивали на виновности Меннэ. Попытаемся путём передопроса выжать из госпожи Делюк, её детей и кучера Валенса более подробные сведения о наружности и манерах смуглого молодого человека. Если взяться за дело толково, то, без сомнения, удастся получить от перечисленных лиц сведения, о которых они и сами забыли, так как не придавали им значения. Постараемся также отыскать лодку, пойманную на Сене в понедельник двадцать третьего июня и уведённую с пристани без ведома служащих, лодку без руля. Действуя осторожно и настойчиво, мы непременно разыщем эту лодку, так как, во-первых, есть человек, который видел её, и, во-вторых, руль остался в наших руках. Человек, у которого спокойно на сердце, не бросил бы без внимания руль парусной лодки. Рассмотрим ближе этот пункт.

Объявления о найденной лодке не сделано. Она взята на пристань и уведена с пристани втихомолку, без всякого шума. Но каким образом

её владелец или наниматель ухитрился узнать о ней во вторник утром, без всякой публикации, если у него нет связи с флотом, заставляющей его следить за самыми ничтожными происшествиями в этой области?

Говоря об одиноком убийце, тащившем к берегу свою ношу, я уже заметил, что у него могла быть лодка. Мари Роже была брошена в реку с лодки. Убийца не решился бы оставить тело в мелкой воде прибрежья. Знаки на спине и плечах жертвы указывают, что она была брошена на дно лодки. Отсутствие тяжести свидетельствует также в пользу этого предположения. Если бы тело было брошено с берега, убийца привязал бы к нему груз. Отсутствие груза можно объяснить только оплошностью преступника, который забыл захватить его с собой. Взявшись за тело, чтобы выбросить его, он заметил свою оплошность, но делать было нечего. Всякий риск казался предпочтительнее возвращения на этот проклятый берег. Избавившись от тела своей жертвы, убийца поспешил в город. Здесь он пристал к берегу в каком-нибудь глухом месте. Но лодка — надо же было позаботиться о ней. Для этого он слишком торопился. Да и привязав лодку к пристани, он всё думал бы, что оставляет за собой улику. Его

естественная мысль — отделаться от всего, что имеет связь с убийством. Он не только сам бежал от пристани, но и лодку не решился оставить. Конечно, он толкнул лодку в реку на произвол судьбы. Проследим за ним дальше. Наутро негодяй, конечно, поражён ужасом, убедившись, что лодка поймана и привязана к пристани в местности, которую он посещает ежедневно, быть может, по обязанностям службы.

Ночью он опять уводит её, не посмев справиться о руле. Спрашивается, где эта лишённая руля лодка? Постараемся прежде всего отыскать её. Как только мы найдём её, наш успех обеспечен. Лодка эта приведёт нас с поразительной быстротой к тому, кто плавал на ней в ночь рокового воскресенья. Улики появятся одна за другой, и убийца будет пойман.

Разумеется, я говорил здесь лишь о совпадениях, не более. Свой личный взгляд на этот предмет я уже высказал ранее. Я не верю в сверхъестественное. Вселенная и Бог, создавший её, — не одно и то же, этого не будет отрицать мыслящий человек. Что Бог, творец Вселенной, может, по воле своей, изменять её законы — тоже неоспоримо. Я говорю «по воле своей», ибо вопрос здесь именно в воле, а не в могуществе — это логи-

ческая ошибка. Не в том дело, что Бог не может изменить законов природы, а в том, что было бы оскорбительно для Божества предположить нужду в их изменении. В самом начале эти законы созданы так, что обнимают всё, могущее произойти во времени. Вечное в Боге — Теперь.

Повторяю, я говорил обо всём этом лишь как о совпадении. Далее: из моего рассказа ясно, что между судьбой несчастной Мэри Сесилии Роджерс, насколько эта судьба выяснилась, и участью Мари Роже до известного момента истории существует аналогия, которую ум затрудняется объяснить. Но не следует думать, что, выясняя грустную историю Мари от указанного момента и проследив тайну до её развязки, я желал продолжить эту параллель или внушить мысль, будто меры, принятые в Париже для разыскания убийцы, привели бы к такому же результату и в другом случае.

Необходимо иметь в виду, что самое пустое различие в обстоятельствах двух случаев может привести к величайшим ошибкам, дать иное направление всей цепи событий: так в арифметике ошибка, сама по себе ничтожная, приводит, умножаясь в целом ряде действий, к огромной разнице в итоге. Что касается первого предполо-

жения, то сама теория вероятностей, на которой я основывался, исключает мысль о распространении этой аналогии, исключает тем решительнее и строже, чем точнее и ближе аналогия до известного пункта. Это одно из тех положений, которые, по-видимому, не имеют ничего общего со строгим математическим методом мышления и которые, однако, только математик может оценить вполне правильно. Крайне трудно убедить обыкновенного читателя в том, что если, например, игрок в кости два раза подряд выкинул двенадцать очков, то в третий раз почти наверняка не выкинет. Ум не примиряется с этим. Ему кажется, что первые два случая уже безвозвратно принадлежат Прошлому и никак не связаны с тем, что ещё целиком лежит в Будущем. Шансы выкинуть двенадцать очков представляются ему такими же, как всегда. И это кажется столь очевидным, что попытка доказать противное встречается насмешливыми улыбками. Я не могу разбирать это заблуждение в пределах моей статьи; впрочем, для философского ума этот разбор и не нужен. Довольно сказать, что оно — одно из звеньев в бесконечной цепи ошибок, встающих на пути Разума, склонного искать истину в мелочах.

Золотой жук

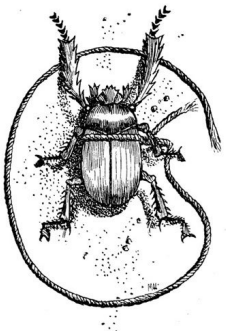
Смотрите! Как пляшет этот малый!
Его, наверное, укусил тарантул.

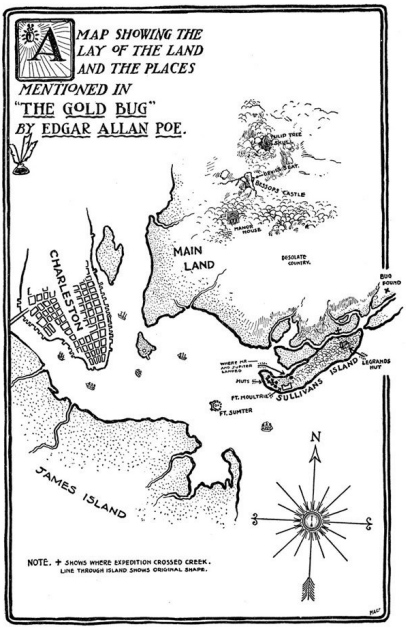
«Все не правы»

Несколько лет тому назад я близко сошёлся с неким Вильямом Леграном. Он принадлежал к старинной гугенотской семье и был когда-то богат, но ряд неудач довёл его до разорения. Чтобы избегнуть унизительных последствий этого несчастья, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и переселился на остров Сэлливан близ Чарльстона, в Южной Каролине.

Это весьма достопримечательный остров, он состоит почти сплошь из морского песка. Длина его три мили, наибольшая ширина — четверть мили. Его отделяет от материка едва заметный проток, пробирающийся сквозь тину и заросли камыша — любимый приют болотных курочек. Растительность, как легко можно себе представить, скудная, низенькая; сколько-нибудь крупных деревьев совсем нет. Только на западной оконечности острова, вокруг форта Моультри и нескольких жалких домиков, занимаемых

на летнее время чарльстонскими жителями, спасающимися от городской пыли и лихорадки, встречаются колючие карликовые пальмы. Зато весь остров, если не считать этого уголка и печальной белесоватой полосы песка вдоль берега, одет густыми зарослями душистого мирта, столь ценимого английскими садоводами. Местами он достигает пятнадцати-двадцати футов в вышину, образуя почти непроходимую чащу и наполняя воздух благоуханием.





В самой глубине этой чащи, недалеко от восточной, наиболее удалённой от континента оконечности острова, Легран сам выстроил се-

бе хижину, где и проживал в то время, когда я совершенно случайно познакомился с ним. Знакомство вскоре перешло в дружбу, так как многие черты в характере отшельника возбуждали сочувствие и уважение. Я убедился, что он получил хорошее образование, обладает недюжинным умом, но заражён мизантропией и подвержен странным перемежающимся припадкам энтузиазма и меланхолии. У него было с собою много книг, но он редко обращался к ним. Больше всего он любил охоту, рыбную ловлю, прогулки по морскому берегу и среди зарослей в поисках раковин и насекомых. Его энтомологической коллекции позавидовал бы Сваммердам[50]. В этих экскурсиях его сопровождал старый негр Юпитер, освобождённый ещё до разорения; но ни угрозы, ни обещания не могли заставить негра отказаться от того, что он считал своим правом: всюду следовать за своим «молодым масса Виллом». Весьма возможно, что родственники Леграна, опасавшиеся за его рассудок, поощряли Юпитера в его упрямстве, чтобы беглец не остался без всякого надзора и ухода.

На широте острова Сэлливан зимы редко быва-

---

[50] Примечания: 50
Сваммерда́м Ян (1637–1680) — голландский натуралист.

ют суровы и даже осенью почти не приходится топить печи. Однако в половине октября 18… года выдался чрезвычайно холодный день. Перед самым закатом я пробирался сквозь чащу вечнозелёных кустарников к хижине моего приятеля, которого не навещал уже несколько недель. Я жил тогда в Чарльстоне, в девяти милях от острова, а сообщение между этими двумя пунктами было в те времена далеко не так удобно, как ныне. Добравшись до хижины, я, по обыкновению, постучал и, не получив ответа, отыскал ключ (я знал, где он хранится), отворил дверь и вошёл. Яркий огонь пылал в печи. Это была неожиданность — и, разумеется, очень приятная. Я снял пальто, придвинул кресло к весело трещавшим дровам и стал терпеливо дожидаться прихода хозяев.

Они явились с наступлением темноты и приветствовали меня очень сердечно. Юпитер, оскалив рот до ушей, принялся ощипывать болотных курочек и стряпать ужин. Легран оказался на этот раз в припадке энтузиазма, ибо как ещё можно было назвать его состояние? Он нашёл новую разновидность двустворчатой раковины; больше того — он поймал с помощью Юпитера жука, который казался ему представителем совершенно нового вида и которого он обещал

показать мне завтра утром.

— Почему же не сегодня вечером? — спросил я, потирая перед огнём руки и мысленно посылая к чёрту всех жуков на свете.

— Да, если б я знал, что вы здесь! — ответил Легран. — Но вы так давно не навещали меня. Откуда мне было знать, что вы придёте именно сегодня? Возвращаясь домой, я встретил лейтенанта Г. из форта и имел глупость отдать ему жука, так что вам не удастся увидеть его до завтра. Оставайтесь ночевать. Юп сбегает за ним на рассвете. Это чудеснейшая штука, какую можно себе представить.

— Что? Рассвет?

— Да нет, чёрт возьми, жук!.. Он ярко-золотого цвета, величиной с крупный орех, с двумя чёрными, как смоль, пятнышками на верхнем конце спинки и третьим, подлиннее, на нижнем. Его усики…

— Никакого олова, масса Вилл, бьюсь об заклад, — перебил Юпитер, — жук золотой, весь золотой снаружи и внутри, только крылья не золотые. Я никогда не видел такого тяжёлого жука.

— Хорошо, допустим, что ты прав, Юп, — сказал Легран, как мне показалось, несколько более серьёзным тоном, чем того требовали обстоятель-

ства, — но разве из этого следует, что дичь должна пережариться? Действительно, — продолжал он, обращаясь ко мне, — его цвет почти оправдывает утверждение Юпа. Вряд ли вы когда-нибудь видели надкрылья с таким ярким металлическим блеском… да вот сами завтра посмотрите. Пока я постараюсь дать вам понятие о его форме.

С этими словами он уселся за столик, на котором стояла чернильница с пером. Бумаги не было. Он пошарил в ящике, но и там ничего не оказалось.

— Всё равно, — сказал он, наконец, — и эта годится.

Он вытащил из ящика клочок очень грязной старой бумаги и набросал пером рисунок. Пока он возился с ним, я по-прежнему грелся у огня, так как всё ещё чувствовал озноб. Кончив рисунок, он передал его мне, не вставая с места. В эту минуту послышалось громкое рычание, и кто-то стал царапаться в дверь. Юпитер отворил, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату, положил мне на плечи лапы и стал осыпать меня ласками: я очень подружился с ним в мои прежние посещения. Когда он угомонился, я взглянул на бумагу и, правду сказать, был весьма озадачен рисунком моего друга.

— Да, — сказал я, поглядев на него несколько минут, — признаюсь, странный жук, совершенно мне неизвестный; я никогда не видывал ничего подобного. Пожалуй, он похож на череп… да… на череп он похож поразительно.

— На череп! — повторил Легран. — Пожалуй, вы правы; на рисунке он несколько напоминает череп. Два чёрных верхних пятнышка имеют вид глаз, а длинное нижнее похоже на рот, общая форма овальная…

— Может быть, и так, — ответил я, — но, Легран, боюсь, что вы не мастер рисовать. Уж я лучше подожду самого жука, прежде чем судить о нём.

— Отлично, — сказал он, слегка уколотый. — Но я, кажется, рисую сносно — по крайней мере этого следовало бы ожидать. Я учился у хороших мастеров и полагаю, что не вполне бездарен.

— В таком случае, дружище, вы подшутили надо мною, — возразил я. — Это очень недурной череп, можно даже сказать, превосходный череп, отвечающий самым точным требованиям остеологии, и если ваш жук похож на него, то это действительно самый странный жук на свете. Он может подать повод к какому-нибудь суеверию. Вы, конечно, назовёте его scarabaeus

caput hominis[51], или что-нибудь в этом роде: такие названия часто встречаются в естественной истории. Но где же у него усики, о которых вы говорили?

— Усики! — с непонятной для меня горячностью сказал Легран. — Неужели вы не видите усиков? Я нарисовал их так же явственно, как в натуре. Надеюсь, этого довольно.

— Ну что ж, — ответил я, — допустим, что вы их и нарисовали, только я их не вижу.

И я протянул Леграну бумажку без дальнейших возражений, так как я не хотел выводить его из себя. Но меня очень удивлял оборот, который приняла эта история; его раздражение сбивало меня с толку: у жука на рисунке, честное слово, не было никаких усиков, и в целом он изумительно походил на обыкновенный череп.

---

[51] Примечания: 51
Жук — смерть человеку *(лат.)*.


G.C. WIDNEY 1901

Он с недовольным видом взял бумагу и хотел, видимо, скомкать её и бросить в огонь, но, случайно взглянув на рисунок, замер, словно прикованный к нему. Лицо его побагровело, потом сильно побледнело. В течение нескольких минут он, не двигаясь с места, внимательно рассматривал рисунок. Затем встал, взял со стола свечу и уселся на сундуке в другом конце комнаты. Там он снова углубился в рассматривание бумаги, вертя её во все стороны. Однако он ничего не сказал, и, хотя его поведение очень удивляло меня, я не желал расспросами усиливать его раздражение. Наконец, он достал из кармана бумажник, тщательно уложил в него листок и спрятал в конторку, замкнув её на ключ. После этого он успокоился, но прежний энтузиазм уже не возвращался к нему. Впрочем, он казался скорее задумчивым, чем угрюмым. Задумчивость эта росла с часу на час, и все мои попытки рассеять её оставались тщетными. Я хотел было переночевать в хижине, как часто делал это раньше, но при таком настроении хозяина счёл более удобным уйти. Он не удерживал меня, но на прощание пожал мне руку даже сердечнее, чем обычно.

Спустя месяц (в течение которого я ничего не

слыхал о Легране) ко мне в Чарльстон явился его слуга Юпитер. Я никогда ещё не видал добродушного старого негра в таком удручённом состоянии и не на шутку испугался: не случилось ли с моим приятелем какой-нибудь беды.

— Ну, Юп, — спросил я, — что нового? Как поживает твой господин?

— Сказать правду, масса, поживает он не так хорошо, как следовало бы.

— Нехорошо? Меня это огорчает. На что же он жалуется?

— Ах! Вот в том-то и дело! Он ни на что не жалуется, но он очень болен.

— Очень болен? Что же ты сразу не сказал? Он лежит?

— Ну нет, не лежит. Всё ходит. В этом-то и беда. Ох, меня очень беспокоит бедный масса Вилл.

— Что ты мелешь, Юпитер? Понять не могу! Ты сказал, что твой хозяин болен. А он не говорил тебе, что с ним?

— Нет, масса… Масса Вилл уверяет, что с ним ничего… Тогда зачем же он ходит взад и вперёд, согнувшись, опустив голову и белый, как гусь? И зачем всё время пишет и пишет цифры…

— Что он пишет, Юп?

— Пишет цифры и знаки на грифельной доске…

таких смешных знаков я ещё никогда не видел… Мне даже страшно… Нельзя спускать с него глаз. Вчера он убежал — и пропал на целый день… Я сделал палку, хотел вздуть его, когда он вернётся… но он пришёл такой грустный, что мне, старому дураку, стало жалко его…

— Вот как?.. В самом деле. Нет, не обращайся с ним жестоко… не бей его, Юпитер, — он, пожалуй, не вынесет этого. Но что же вызвало эту болезнь, или, вернее, эту перемену в его поведении? Случилось что-нибудь неприятное после того, как я был у вас?

— Нет, масса, после не было ничего неприятного, а вот до того… да, боюсь, что это случилось в тот самый день…

— Как? Что ты хочешь сказать?

— Да, масса, я хочу сказать, что это жук, вот и всё.

— Что?

— Жук… Я думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Да почему же ты так думаешь, Юп?

— У него огромные когти и морда. Я никогда ещё не видел такого проклятого жука: он кусает, что ни попадётся. Масса Вилл сперва схватил его за ногу и сразу же выпустил — тогда-то жук,

верно, и укусил его. Мне этот жук с таким страшным ртом не понравился с самого начала; я не стал брать его руками, а взял клочок бумажки и завернул его, да и в рот ему сунул бумажку. Вот как я сделал!

— Так ты думаешь, что жук действительно укусил твоего господина и от этого он заболел?

— Я ничего не думаю — я знаю. А то почему бы ему всё снилось золото, коли золотой жук не укусил его? Я слышал уже о них, об этих золотых жуках.

— Да почему ты знаешь, что ему снится золото?

— Почему знаю? Да он говорит во сне про золото — вот почему знаю.

— Ну, может быть, ты и прав, Юп. Но какому счастливому обстоятельству обязан я сегодня честью твоего посещения?

— Что такое, масса?

— Ты с каким-нибудь поручением от господина Леграна?

— Нет, масса, у меня только вот эта записка.

И Юпитер подал мне бумажку, на которой я прочёл:

«Дорогой мой, что это вас не видно?

Неужели вы обиделись на маленькую резкость с моей стороны? Нет, это слишком невероятно. С тех пор как мы виделись с вами последний раз, меня одолевает беспокойство. Мне нужно рассказать вам кое-что, но я не знаю, как за это приняться, не знаю даже, рассказывать ли вообще.

В последнее время мне нездоровилось, и старик Юпитер донял меня своими заботами. Поверите ли? – на днях он вырезал здоровенную дубину и хотел отколотить меня за то, что я ушёл утром, не известив его, и провёл весь день один среди холмов на материке. Кажется, только мой болезненный вид избавил меня от побоев.

Со времени нашей последней встречи я ничего не прибавил к своей коллекции.

Если можете, приезжайте с Юпитером. Приезжайте! Мне нужно видеть вас сегодня по важному делу. Уверяю вас, по очень важному делу.

Весь ваш Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь её стиль был так непохож на Легра-

на, что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть у него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и ещё две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чёртову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и чёрт меня побери, если он сам знает. Всё дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьёшься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к

северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чём ещё говорить, — я спросил, получил ли он от лейтенанта Г. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чём Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — из чистого золота!

Он произнёс эти слова с полной серьёзностью. Я был глубоко потрясён.

— Этот жук принесёт мне счастье, — продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, — он вернёт мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернёт мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойди

принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застеклённого ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время ещё не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два чёрных округлых пятнышка и ниже с другой ещё одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твёрдыми и действительно блестели, как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая всё это, можно было не так уже строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами, — начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, — я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука…

— Дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс, — сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем…

— Вы заблуждаетесь, — прервал он меня. — Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждёт нас там успех или же неудача, всё равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным, — ответил я, — но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придётся идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернёмся домой, что бы там ни было.

— А вы поклянётесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (боже правый!) благополучно закончится, вы вернётесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждёт!

С тяжёлым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около четырёх часов дня, когда мы пустились в путь — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нёс косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чёртов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за всё путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нёс жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слёз. Тем не менее я пока

решил ни в чём не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо действительные энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Мы переправились через проток на чёлне и, поднявшись на высокий берег материка, пошли к северо-западу по дикой, унылой местности, где, кажется, ещё не ступала человеческая нога. Легран шёл решительным шагом, время от времени останавливаясь и проверяя путь по заметкам, сделанным им, по-видимому, в одну из прежних прогулок.

Так шли мы часа два и к закату солнца очутились в местности ещё более угрюмой, чем всё, что мы видели до тех пор. Это был род плато у вершины почти неприступного холма, сверху донизу заросшего лесом и усеянного огромными каменными глыбами, которые в беспорядке лежали на его склонах; многие из них скатились бы вниз, если бы их не задерживали деревья. Глубокие ущелья пересекали местность во всех направлениях и придавали ей ещё более мрач-

ный и торжественный вид.


G. C. WIDNEY
1901

Площадка, на которую мы взобрались, так густо заросла цепким кустарником, что без помощи косы через него невозможно было бы пробраться. Юпитер, по приказанию своего господина, стал прокладывать нам тропинку к подножью гигантского тюльпанового дерева, которое возвышалось среди восьми или десяти дубов и далеко превосходило их и все остальные попадавшиеся в этой местности деревья красотою листьев, размахом раскидистых ветвей и всем своим величавым видом. Когда мы достигли этого дерева, Легран спросил негра, может ли он на него взобраться.

Бедный старик, по-видимому, был несколько удивлён этим вопросом и не сразу ответил. Наконец, он приблизился к высокому стволу, медленно обошёл вокруг него и внимательно осмотрел дерево. Затем, кончив осмотр, просто сказал:

— Да, масса, Юп ещё не видел дерева, на которое не мог бы влезть.

— Ну, так полезай, и живо, а то стемнеет, и мы не успеем ничего сделать.

— Высоко лезть, масса? — спросил Юпитер.

— Сначала до первых ветвей, а там я скажу куда… Постой! Захвати с собой жука.

— Жука, масса Вилл? Золотого жука?! — вос-

кликнул негр, отшатнувшись со страхом. — Зачем жуку лезть на дерево? Будь я проклят, если я возьму его с собой!

— Послушай, Юп! Если ты, рослый негр, здоровый, толстый негр, боишься тронуть эту безобидную маленькую мёртвую тварь, ты можешь держать её на верёвочке, но, во всяком случае, ты возьмёшь жука с собой, или же мне придётся проломить тебе голову этой лопатой.

— Боже мой, да в чём дело, масса? — сказал Юп, сдаваясь, пристыжённый. — Вам ничего не стоит обидеть старого негра. Я ведь только пошутил. Чтобы я боялся жука! Велика важность — жук!

Тут он осторожно взялся за конец верёвочки и, стараясь держать жука как можно дальше от себя, полез на дерево.

Тюльпановое дерево, или Liriodendron Tulipiferutn, великолепнейшее из американских деревьев, в молодости имеет совершенно гладкую кору и часто не даёт сучьев до значительной высоты, но с возрастом кора становится шероховатой и неровной и на стволе появляется множество коротеньких сучков. Таким образом, влезть на это дерево было не так уж трудно, как казалось. Охватив громадный ствол как можно плотнее руками и коленями, цепляясь пальцами

за всякий выступ и упираясь ступнями в неровности коры, Юпитер, раза два-три счастливо избежав падения, взобрался, наконец, на первый большой сук и уселся на нём, считая, по-видимому, свою задачу выполненной. Действительно, главная опасность миновала, хотя сук и находился на высоте шестидесяти или семидесяти футов над землёй.

— Куда теперь лезть, масса Вилл? — спросил он.

— Взбирайся вверх по самому большому суку… вон тому, видишь? — крикнул Легран.

Негр тотчас повиновался и, по-видимому, без особенных затруднений стал взбираться всё выше и выше, пока его коренастая фигура не исчезла в густой листве. Тогда, совсем издали, послышался его голос:

— До каких же пор мне лезть?

— Высоко ли ты забрался?

— Высоко, высоко, — ответил негр, — так высоко, что сквозь вершину мне видно небо.

— Оставь небо в покое и слушай меня. Сосчитай, сколько ветвей на стволе ниже тебя с этой стороны.

— Одна, две, три, четыре, пять, — на шестую я сел, масса.

— Поднимись ещё на одну ветку.

Через несколько мгновений Юпитер закричал, что добрался до седьмой ветви.

— Теперь, Юп, — крикнул Легран с очевидным волнением, — продвигайся по этой ветке как можно дальше и, если увидишь на ней что-нибудь особенное, скажи мне.

С этой минуты у меня не оставалось никаких сомнений насчёт болезненного состояния моего друга. Его помешательство стало для меня очевидным, и я с беспокойством думал о том, как бы увести его домой. Пока я соображал, как лучше за это взяться, снова послышался голос Юпитера.

— По этому суку страшно лезть — он совсем сухой, он мёртвый почти до конца.

— Ты говоришь — мёртвый, Юпитер? — крикнул Легран прерывающимся от волнения голосом.

— Да, масса, мёртвый, как дверной гвоздь, — совсем готовый для того света.

— Господи, что же делать? — воскликнул Легран с неподдельным отчаянием в голосе.

— Что делать? — подхватил я, радуясь случаю вставить слово. — Идти домой и лечь спать. Пойдёмте! Уже поздно. И притом вспомните ваше обещание.

— Юпитер! — крикнул Легран, не обратив на мои слова на малейшего внимания. — Ты слышишь меня?

— Да, масса Вилл, очень ясно слышу.

— Попробуй дерево ножом — очень оно гнилое?

— Гнилое, масса, довольно гнилое, — ответил спустя несколько мгновений негр, — но всё-таки не совсем гнилое. Я мог бы подвинуться по суку ещё немного, но только один.

— Один? Что ты хочешь сказать?

— Я говорю про жука. Очень тяжёлый жук. Если я его брошу, сук не сломается под тяжестью одного негра.

— Ах ты, чёртова каналья! — закричал Легран с видимым облегчением. — Что ты за глупости городишь? Только попробуй у меня бросить жука, и я сверну тебе шею! Помни это, Юпитер! Ты слышишь меня?

— Да, масса, за что вы ругаете бедного негра?

— Теперь слушай меня хорошенько! Если ты залезешь по этому суку так далеко, как только можно, и не выпустишь жука, я подарю тебе серебряный доллар.

— Лезу, масса Вилл, — быстро ответил негр. — Вот… я почти на самом конце.

— На самом конце! — неистово закричал Легран. — Ты хочешь сказать, что ты на самом конце этого сука?

— Сейчас будет конец, масса… О-о-о-о-ой! Господи Боже! Что это тут на дереве?

— Ну что такое? — радостно воскликнул Легран.

— Э, да это только череп. Кто-то оставил на ветке свою голову, и вороны склевали всё мясо.

— Ты говоришь — череп? Отлично! Как он держится? Чем он прикреплён?

— О, он хорошо держится… надо посмотреть чем… Ах! Вот так штука! Ей-богу, в черепе большой гвоздь, которым он и прибит к дереву.

— Ладно, Юпитер! Теперь делай в точности то, что я буду тебе говорить. Слышишь?

— Да, масса.

— Будь же внимателен — отыщи левый глаз у черепа.

— Э! Да как же! Тут совсем нет левого глаза.

— Проклятый олух! Умеешь ты отличить левую руку от правой?


G. C. WIDNEY
1901

— Да, умею! Хорошо умею! Левая рука — та, которой я колю дрова.

— Ну да, ты левша. И твой левый глаз на той же стороне, что и левая рука. Теперь, надеюсь, ты отыщешь левый глаз черепа или то место, где был левый глаз. Нашёл?

Наступила продолжительная пауза. Наконец, негр спросил:

— Левый глаз на черепе там же, где левая рука черепа, да?.. Но у черепа вовсе нет руки!.. Ничего, я всё-таки нашёл левый глаз: вот левый глаз. Что теперь делать?

— Пропусти через него жука, насколько позволит шнурок, только, смотри, не урони его.

— Готово, масса Вилл! Очень просто пропустить жука в дырку… Вот смотрите!

В течение этого разговора Юпитер оставался невидимым; но жук, которого он пропустил в орбиту черепа, показался на конце шнурка, сверкая, точно шарик червонного золота, в последних лучах заходящего солнца, ещё озарявших слабым светом возвышенность, где мы стояли. Жук спускался, раздвигая ветви, и, если бы Юпитер уронил его, упал бы прямо к нашим ногам. Легран немедленно взял косу и расчистил пространство в три или четыре ярда в поперечнике, как раз под

жуком; затем велел Юпитеру выпустить шнурок и слезть с дерева.

Мой друг очень сосредоточенно воткнул колышек в том самом месте, где упал жук, и достал из кармана рулетку. Прикрепив один конец её к дереву в ближайшем к колышку месте, он начал развёртывать её по направлению от дерева через колышек и отмерил таким образом пятьдесят футов; Юпитер расчищал ему в это время дорогу косой. Тут он вбил другой колышек и велел Юпитеру расчистить вокруг него небольшое пространство, около четырёх футов в диаметре. Затем он взял лопату и, дав по лопате мне и Юпитеру, попросил нас рыть как можно усерднее.

По правде сказать, я никогда не питал особой склонности к такому занятию и охотно отказался бы от этого удовольствия, так как ночь уже наступала, а я и без того был утомлён нашим путешествием; но я не видел возможности отказаться, боясь расстроить моего бедного друга. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то увёл бы безумца домой, но я слишком хорошо знал старого негра, чтобы надеяться на его поддержку в случае личного столкновения с его господином при каких бы то ни было обстоятельствах. Я был уверен, что Легран свихнулся на какой-нибудь

из бесчисленных историй о кладах, столь распространённых на Юге, и что химера эта засела у него в голове под влиянием находки жука, а быть может, и неоднократных высказываний Юпитера, будто жук «из чистого золота».

Рассудок, предрасположенный к помешательству, легко поддаётся таким внушениям, особенно если они согласуются с его предвзятыми идеями, и я хорошо помнил слова бедняги о жуке, который «добудет ему богатство». Вообще я был жестоко расстроен, но в конце концов решил покориться неизбежному и взяться за лопату, чтобы поскорее на деле доказать безумцу всю нелепость его мечтаний.

Мы зажгли фонари и принялись за работу с рвением, достойным лучшего применения. Озарённые дрожащим светом фонарей, мы, без сомнения, представляли очень живописную группу, и я невольно подумал, какое странное и дикое впечатление произвело бы это зрелище на постороннего человека, случайно завернувшего в этот уголок.

Мы усердно рыли в течение двух часов. Говорили мало. Больше всего нам мешала собака, лаявшая и, по-видимому, очень интересовавшаяся нашей работой. Наконец, она подняла такой

отчаянный вой, что мы стали опасаться, как бы она не подняла на ноги всех окрестных жителей; вернее, этого очень боялся Легран, ибо я, со своей стороны, был бы рад всякому вмешательству, которое помогло бы мне отвести беднягу домой.

В конце концов вой этот был прекращён Юпитером, с решительным видом выскочившим из ямы и завязавшим морду собаки собственной подтяжкой, после чего он, угрюмо ухмыляясь, снова взялся за лопату.

По истечении двух часов мы достигли глубины в пять футов, но никаких следов сокровища не было видно. Мы остановились, и я начал надеяться, что комедия близится к концу. Однако Легран, хотя и очень смущённый, задумчиво отёр потный лоб и продолжал копать. Мы вырыли яму на пространстве всего расчищенного круга в четыре фута диаметром, потом перешли за эту границу и углубили яму ещё на два фута. Там тоже ничего не оказалось. Наконец, мой искатель кладов, которого мне было от души жаль, вылез из ямы с крайне расстроенным видом и принялся медленно, с неохотой, надевать куртку, снятую перед началом работы. Я остерегался делать какие-либо замечания. Юпитер, по знаку своего господина, стал собирать инструменты. Затем,

развязав морду собаке, мы в глубоком молчании направились домой.


G C WIDNEY 1901

Не прошли мы и десяти шагов, как вдруг Легран, громко выругавшись, кинулся на Юпитера и схватил его за ворот. Ошеломлённый негр выпучил глаза, разинул рот, уронил инструменты и упал на колени.

— Бездельник! — сквозь зубы прошипел Легран. — Проклятый чёрный негодяй! Говори! Отвечай сию же минуту без увёрток! Где, где у тебя левый глаз?

— О, беда, масса Вилл! Вот левый глаз, вот он! — ревел испуганный негр, положив руку на правый глаз и плотно прижимая её, как будто боялся, что господин его вырвет.

— Я так и думал! Я так и знал! Ура! — завопил Легран, отпуская негра и пускаясь в пляс, к великому изумлению своего слуги, который, поднявшись, безмолвно переводил взоры с меня на своего господина и с своего господина на меня.

— Идём! Мы должны вернуться! — сказал Легран. — Не всё ещё потеряно!

И он направился обратно к тюльпановому дереву.

— Юпитер, — сказал он, когда мы подошли к стволу, — поди сюда! Как был прибит череп: лицом наружу или лицом к стволу дерева?

— Лицом наружу, масса, — воронам удобно

было клевать глаза.

— Ладно. Так в этот или в тот глаз опустил ты жука?

И Легран поочерёдно дотронулся до обоих глаз негра.

— В этот, масса, в левый, как вы и приказали, — ответил Юпитер, по-прежнему указывая на правый глаз.

— Отлично! Нужно начинать сначала!

Тут мой друг, в помешательстве которого я стал видеть или думал, что вижу, некоторую методичность, переставил колышек, воткнутый в том месте, где упал жук, на три дюйма к западу. Затем, снова протянув ленту от ближайшей точки ствола к колышку, он отмерил в том же направлении пятьдесят футов и отметил новый пункт, в нескольких ярдах от того места, где мы рыли.

Вокруг этого нового центра был расчищен круг, несколько шире первого, и мы снова взялись за лопаты. Я страшно устал, но, сам не зная почему, уже не чувствовал такого отвращения к работе, как прежде. Я даже необъяснимым образом заинтересовался ею; мало того, я испытывал волнение. Быть может, решительность и какое-то пророческое вдохновение, которым веяло от экстравагантных выходок Леграна, действовали

на меня. Я усердно рыл и время от времени ловил себя на том, что поглядываю на яму с чувством, весьма похожим на ожидание воображаемого сокровища, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. В то самое время, когда после полуторачасовой работы безумные мысли эти с особенною силой овладели мной, собака снова принялась неистово лаять. В первый раз лай её был, очевидно, результатом каприза или избытка весёлости, но теперь в нём слышались более серьёзные и определённые нотки. Юпитер попытался было снова завязать ей морду, но она оказала отчаянное сопротивление и, бросившись в яму, принялась яростно скрести землю лапами. Вскоре она откопала груду человеческих костей — два скелета, среди которых виднелось несколько металлических пуговиц и остатки истлевшей шерстяной ткани. Несколько ударов лопатой открыли лезвие большого испанского ножа. Мы углубили яму ещё немного и увидели несколько рассыпанных золотых и серебряных монет.

Тут Юпитер едва мог сдержать свою радость, но лицо Леграна отразило ужасное разочарование. Он просил нас всё же продолжать работу, и не успел он окончить свои мольбы, как я споткнулся и упал вперёд, зацепив ногою за железное коль-

цо, наполовину закрытое свежей землёй.

Мы с новым жаром принялись копать — я никогда ещё не испытывал такого возбуждения. Через десять минут мы вырыли продолговатый сундук, удивительно хорошо сохранившийся и твёрдый, как камень; очевидно, дерево было пропитано каким-нибудь составом, может быть, двухлористою ртутью. Сундук имел три с половиной фута в длину, три фута в ширину и два с половиной в вышину. Он был окован железными полосами, перекрещивавшимися в виде сетки. С каждой стороны было по три железных кольца, всего шесть, так что за него могли взяться шесть человек. Наши соединённые усилия только чуть-чуть сдвинули его с места. Мы сразу же убедились, что нам не под силу унести такую тяжесть. К счастью, он был заперт только на две задвижки. Мы сломали их, дрожа от волнения, как в лихорадке. Несметные сокровища, сверкая, открылись нашим глазам. Свет от фонарей падал в яму, и груда золота и драгоценных камней блистала и искрилась таким ослепительным блеском, что у нас зарябило в глазах.

Не берусь передать мои чувства при виде этого зрелища. Изумление, конечно, господствовало над всеми остальными. Легран, казалось, изне-

могал от возбуждения и не произносил почти ни слова. Что до Юпитера, то лицо его покрылось смертельной бледностью, насколько это возможно для негра. Он казался поражённым громом. Потом он бросился на колени и по локоть засунул свои голые руки в золото, блаженно купаясь в нём. Наконец, с глубоким вздохом он воскликнул, словно обращаясь к самому себе:

— И всё это золотой жук! Милый золотой жук! Бедный золотой жучок! Я так бранил, так проклинал его! И не стыдно тебе, старый негр?.. А? Отвечай!

Мне пришлось, однако, так сказать, разбудить господина и слугу, дав им понять, что нужно унести сокровище. Становилось поздно, и нам следовало поторопиться, если мы хотели, чтобы уже до рассвета клад был в полной безопасности. Мы не знали, как быть, и долго не могли решить этого вопроса, ибо мысли наши совершенно перепутались. В конце концов мы вынули из сундука почти две трети его содержимого, и нам удалось, всё ещё не без труда, вытащить его из ямы. Добытые сокровища мы спрятали в кустарнике и оставили собаку сторожить их, со строжайшим наказом от Юпитера — не трогаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем

мы поспешили с сундуком домой и добрались до хижины благополучно, но страшно усталые, к часу ночи. Мы так измучились, что были не в силах сразу же тронуться в обратный путь. Мы отдохнули до двух часов, поужинали и снова отправились к холмам, захватив три больших мешка, случайно найденных нами в хижине. Около четырёх часов утра мы были на месте, разделили на три части остатки сокровищ и, не дав себе труда зарыть яму снова, направились к хижине, где и сложили наш груз, как раз когда за верхушками деревьев на востоке вспыхнули первые проблески утренней зари.

Мы были совершенно разбиты, но возбуждённое состояние не позволило нам как следует отдохнуть. Проспав часа три-четыре беспокойным сном, мы разом, точно сговорившись, вскочили и принялись осматривать сокровища.

Сундук был полон до краёв, и мы провели весь день и часть следующей ночи за разборкой его содержимого. Сокровища были навалены как попало, без всякого порядка.

Рассортировав их, мы убедились, что обладали богатством ещё большим, чем казалось с первого взгляда. Тут было более четырёхсот пятидесяти тысяч долларов звонкой монетой, вычисляя

стоимость золота по текущему курсу. Серебра не было совсем — исключительно золотые монеты старинной чеканки разных стран: французские, испанские, немецкие, несколько английских гиней и ещё каких-то монет, о которых мы и понятия не имели. Попадались тяжёлые, большие монеты, настолько стёртые, что нельзя было разобрать надписей на них. Американских не было вовсе. Стоимость драгоценных камней было труднее определить. Тут были алмазы — некоторые из них громадные и замечательной красоты, — всего сто десять штук, и среди них — ни одного мелкого; восемнадцать рубинов удивительного блеска; триста десять прекрасных изумрудов; двадцать один сапфир и один опал. Все эти камни были вынуты из оправ и грудою свалены в сундук. Самые оправы были, казалось, сплющены молотком, по всей вероятности для того, чтобы их нельзя было узнать. Кроме всего этого в сундуке оказалось множество золотых украшений: около двухсот массивных колец и серёг; великолепные цепи, если не ошибаюсь, тридцать штук; восемьдесят три больших тяжёлых распятия; огромная золотая пуншевая чаша чеканной работы, украшенная виноградными листьями и вакхическими фигурами; пять очень

ценных золотых кадильниц; две рукоятки шпаг замечательной работы и масса мелких вещиц, которых я уже не упомню. Вес этих драгоценностей превосходил триста пятьдесят фунтов, не считая ста девяноста семи великолепных золотых часов, из которых трое стоили не менее чем по пятьсот долларов. Многие из них были очень старинной системы, с попорченными от времени механизмами, негодные для употребления, но превосходной ювелирной работы и в дорогих футлярах. Стоимость всего содержимого сундука мы определили в эту ночь в полтора миллиона долларов, но впоследствии по продаже драгоценностей и золотых вещей (мы сохранили для себя лишь немногие) оказалось, что оценка наша была чрезвычайно низка.

Когда, наконец, мы кончили разборку и волнение наше несколько улеглось, Легран, видя, что я сгораю от нетерпения получить ключ к этой необычайной загадке, приступил к подробному рассказу о всех относящихся к ней обстоятельствах.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я передал вам беглый набросок жука? Вы помните также, как я рассердился на вас за то, что вы уверяли, будто мой рисунок напоминает череп?

Сначала я думал, что вы шутите, но, вспомнив об особенных пятнышках на спинке насекомого, согласился, что ваше сравнение не лишено основания. Всё же недоверие к моим рисовальным способностям раздражало меня, так как я считаюсь хорошим художником, и, когда вы возвратили мне клочок пергамента, я в сердцах хотел скомкать его и бросить в печку.


G.C.WIDNEY 1901

— Клочок бумаги, хотите вы сказать? — заметил я.

— Нет, я сам думал сначала, что это бумага, но, начав рисовать, тотчас убедился, что это клочок очень тонкого пергамента. Он был очень грязен, — вы, верно, помните? Так вот, собираясь скомкать его, я взглянул на рисунок, который вы рассматривали, и, можете себе представить моё изумление, когда я действительно увидел череп в том месте, где, казалось мне, я нарисовал жука. В первую минуту я ничего не мог понять. Я знал, что мой рисунок в деталях резко отличался от этого, хотя в общих очертаниях было известное сходство. Я взял тогда свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал тщательно исследовать пергамент. Повернув его, я нашёл свой рисунок на другой стороне. Первое, что я почувствовал, было просто удивление. В контурах рисунков было поистине замечательное сходство: по странной случайности неизвестный мне рисунок черепа находился как раз на обороте моего рисунка и был похож на него не только очертаниями, но и размером. Как я уже сказал, это странное совпадение в первую минуту совершенно ошеломило меня. Таково обычное действие подобных происшествий. Рассудок старается установить связь

явлений — отношения причины и следствия — и, будучи не в силах сделать это, на минуту парализуется. Но, собравшись с мыслями, я мало-помалу пришёл к выводу, поразившему меня ещё сильнее. Я совершенно отчётливо вспомнил, что никакого рисунка на пергаменте не было, когда я рисовал моего жука. Я был совершенно в этом уверен, так как помнил, что переворачивал клочок из стороны в сторону, отыскивая место почище. Будь на нём рисунок черепа, я не мог бы не заметить его. Тут заключалась загадка, которой я не мог объяснить, но даже в эту первую минуту в тайниках моего разума уже замерцало, подобно светлячку, предвидение разгадки, столь блистательно оправдавшееся в прошлую ночь. Я решительно встал и, спрятав пергамент, отложил всякую попытку объяснить всё это до того, как останусь один.

Когда вы ушли, а Юпитер улёгся спать, я принялся за более методическое исследование. Прежде всего я постарался вспомнить, каким образом этот пергамент попал мне в руки. Мы нашли жука на берегу материка приблизительно в миле к востоку от острова и недалеко от верхней линии прилива. Когда я схватил его, он укусил меня так сильно, что я его выпустил. Юпитер,

со своей обычной осторожностью, прежде чем схватить отлетевшего жука, посмотрел, нет ли поблизости листа бумаги или чего-нибудь подобного. В эту минуту его взгляд — и мой также — упал на клочок пергамента, показавшегося мне тогда бумагой. Он лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал наружу. Поблизости я заметил остатки лодки, походившей на большую корабельную шлюпку. Эти обломки крушения гнили здесь, должно быть, уже давно, ибо они уже утратили почти всякое сходство с лодкой.

Итак, Юпитер подобрал пергамент, завернул в него жука и подал мне. Вскоре после этого мы отправились домой и по дороге встретили лейтенанта Г. Я показал ему насекомое, и он попросил его у меня на время. Я согласился. Он положил жука в карман, а пергамент остался у меня в руках. Может быть, он боялся, что я передумаю, и оттого поспешил спрятать жука, — вы знаете его пристрастие к естественной истории. Очевидно, тогда я совершенно машинально сунул пергамент в карман.

Вы помните, что, усевшись за стол, чтобы нарисовать жука, я не нашёл под рукой бумаги. Я взглянул в ящик, но и там её не оказалось. Я

пошарил в карманах, надеясь найти какое-нибудь старое письмо, и мне попался пергамент. Я описываю с такими подробностями все обстоятельства, вследствие которых он оказался у меня в руках, потому что обстоятельства эти произвели на меня глубокое впечатление.

Без сомнения, вы сочтёте меня фантазёром, но я уже установил некоторые логические связи. Я соединил два звена длинной цепи. На берегу лежала лодка, недалеко от неё пергамент, — не бумага, заметьте, — с изображением черепа. Вы, конечно, спросите: «Какая же тут связь?» Я отвечу, что череп или мёртвая голова — известная эмблема пиратов. Нападая или защищаясь, они всегда поднимали флаг с изображением черепа.

Я сказал, что находка оказалась пергаментом, а не бумагой. Пергамент сохраняется долго, почти вечно. Для пустяков редко употребляют пергамент, тем более что на нём гораздо менее удобно рисовать или писать, чем на бумаге. Это соображение наводило на мысль о какой-нибудь тайне, об особом смысле, связанном с изображением черепа. Я не мог не обратить внимания и на форму пергамента. Хотя один из его уголков был оборван (случайно, надо думать), было ясно, что первоначальная форма его продолговатая.

Словом, это был именно такой пергамент, какие употребляются для важных документов, которые надо долго и тщательно хранить…

— Позвольте, — перебил я, — вы сказали, что черепа не было на пергаменте, когда вы рисовали жука. Как же могли вы установить связь между лодкой и черепом, если этот череп, по вашим же словам, был нарисован (бог знает, как и кем) после того, как вы нарисовали жука?

— А здесь-то и кроется тайна, хотя как раз в этой части разгадка не представляла для меня особых затруднений. Ход моих мыслей был строго логичен и мог привести только к одному выводу. Я рассуждал так: когда я рисовал жука, на пергаменте не было и следов черепа. Кончив рисунок, я передал его вам и не спускал с вас глаз всё время, пока вы не возвратили мне листка. Стало быть, вы не могли нарисовать череп, а кроме вас, рисовать было некому. Следовательно, он не был нарисован. И однако он был тут, у меня перед глазами.

Добравшись до этого пункта своих рассуждений, я стал припоминать и припомнил с полной точностью всё, что случилось в течение данного промежутка времени. Погода была холодная (о, редкая и счастливая случайность!), и в печке

пылал огонь. Я разогрелся от ходьбы и сел за стол. Вы же придвинули стул к самой печке. Как только я передал вам пергамент и вы собрались рассматривать его, Вульф, мой ньюфаундленд, ворвался в комнату и бросился к вам. Левой рукой вы погладили и отстранили его, а правую с пергаментом машинально опустили между колен, к самому огню. Я уже думал, что он вспыхнет, и хотел предупредить вас, но, прежде чем я заговорил, вы подняли его и стали рассматривать. Сопоставив все эти факты, я не мог ни минуты сомневаться в том, что причиной, вызвавшей на пергаменте изображение черепа, было действие теплоты. Вы знаете, что существуют и существовали с незапамятных времён особые химические составы, с помощью которых можно писать на бумаге или пергаменте невидимые буквы, обнаруживающиеся только под действием тепла. Иногда употребляют сафлор[52], растворённый в царской водке[53] и разведённый четырьмя объёмами воды; тогда получаются зелёные буквы.

---

[52] Примечания: 52

Другие названия — кобальтовая синь, тенарова синь. Синий пигмент, получаемый при спекании оксида кобальта и оксида алюминия.

[53] Примечания: 53

Царская водка — смесь концентрированных азотной и соляной кислот.

Кобальтовый королёк, растворённый в нашатырном спирте, даёт красные буквы. Буквы исчезают вскоре после охлаждения бумаги, но стоит её нагреть, и они появляются снова.

Я внимательно рассмотрел тогда изображение черепа. Его внешние, то есть ближайшие к краям пергамента, очертания выделялись резче, чем остальная часть рисунка. Очевидно, действие теплоты было неравномерно. Я тотчас развёл огонь и стал тщательно нагревать пергамент. Сначала яснее выступили очертания черепа, но потом в противоположном по диагонали углу листка появилась фигура, которую я принял сначала за изображение козы. Но при ближайшем исследовании я убедился, что она похожа скорее на козлёнка.

— Забавно, — сказал я, — я не вправе смеяться над вами: полтора миллиона долларов — не тема для шуток! Но вы не отыщете третьего звена цепи, вам не удастся установить связь между вашими пиратами и козой: пираты, как известно, не занимаются козами. Это дело фермеров.

— Но ведь я только что сказал, что это не было изображением козы.

— Ну, козлёнка — это почти одно и то же.

— Почти, но не совсем, — возразил Легран. —

Приходилось ли вам слышать о некоем капитане Кидде? Сопоставьте Kidd и kid (козлёнок). Игра слов здесь напрашивается сама собой. При первом взгляде на рисунок мне пришло в голову, что это должна быть символическая или иероглифическая подпись. Я говорю подпись потому, что место, которое рисунок занимал на пергаменте, заставляло предполагать именно это. Изображение черепа в противоположном по диагонали углу можно было принять за печать. Но меня жестоко сбивало с толку отсутствие главного, самой сути — текста моего воображаемого документа.

— Вы ожидали найти между печатью и подписью текст?

— Что-нибудь в этом роде. Дело в том, что я проникся неотразимым предчувствием огромного богатства. Почему — я и сам не знаю. Это шло скорее изнутри, чем извне. Но, представьте себе, нелепые слова Юпитера о том, что жук из чистого золота, оказали на моё воображение замечательное действие. Потом этот ряд случайностей и совпадений — разве это не странно? Надо же было всем этим событиям произойти в тот единственный день в течение целого года, когда холод заставил нас затопить печку! А не будь печка затоплена или появись собака минутой позже, я

никогда не узнал бы о существовании черепа и не завладел бы сокровищем.

— Продолжайте, продолжайте! Я сгораю от нетерпения.

— Хорошо. Так вы, без сомнения, слышали рассказы, тысячи смутных преданий о сокровище, зарытом где-то на Атлантическом побережье Киддом и его товарищами. В общем, все эти толки должны были иметь некоторое основание. И если они существовали так долго и так упорно, то только потому, казалось мне, что зарытое сокровище до сих пор ещё не найдено.

Если бы Кидд спрятал свою добычу на время, а потом снова забрал бы её, вряд ли бы эти предания дошли до нас в столь неизменной форме. Заметьте, что все эти истории рассказывают о поисках клада, а не о найденных сокровищах. Если бы пират отрыл своё богатство, об этом бы вскоре забыли. Мне казалось, что какая-нибудь случайность, например, потеря плана, на котором было обозначено точное место, где был зарыт клад, лишила Кидда возможности отыскать его. Я предполагал далее, что это обстоятельство стало известно его товарищам, которых иначе он не посвятил бы в свою тайну, и что своими бесплодными поисками там и сям они подали повод к

этим толкам, которые уже превратились в легенды. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о находке на этом берегу большого клада?

— Никогда.

— А между тем хорошо известно, что Кидд собрал несметные богатства. И я пришёл к убеждению, что земля ещё хранит их. Вам, конечно, не покажется странным, что у меня мелькнула надежда, которая почти граничила с уверенностью, что пергамент, так странно попавший в мои руки, содержит исчезнувшие указания на место, где был зарыт неведомый клад.

— Но как же вы их обнаружили?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но буквы не появлялись. Я подумал о покрывающем пергамент слое грязи и осторожно обмыл его, поливая тёплой водой; потом положил пергамент рисунком вниз на жестяную сковородку и поставил её на уголья. Через несколько минут сковородка совсем нагрелась. Я сиял листок и с невыразимой радостью заметил на нём какие-то знаки, похожие на цифры, расположенные строчками. Я снова положил листок на сковородку и подержал его там ещё с минуту. После этого выступила вся надпись — так, как вы её сейчас увидите.

Тут Легран снова погрел у огня пергамент и передал его мне. Я увидел между черепом и козлёнком следующие знаки, грубо начертанные красными чернилами:

53‡‡†305))6*;4826)4‡.)4‡.);806*;48†8
π60))85;I‡(;:‡*8†83(88)5*†;46(;88*96*?;8)*‡(
;485);5*†2:*‡(; 4956*2(5*—4)8π8*;40692
85);)6†8)4‡‡;I(‡9;4808I;8:8‡I;48†85; 4)485†5
28806*81(‡9;48;(88;4(‡?34;48)4‡;161;:188;‡;

— Нет, — сказал я, возвращая ему листок, — для меня это китайская грамота. Я ничего не разобрал бы тут, хотя бы мне предложили все сокровища Голконды.

— А между тем, — возразил Легран, — разгадать шифр не так трудно, как это может показаться с первого взгляда. Очевидно, это шифр, но зная, что такое представлял собой Кидд, я не считал его способным на составление сложной криптограммы. Я тотчас решил, что его шифр должен быть очень простым, хотя ограниченному уму моряка и неизбежно покажется совершенно не поддающимся расшифровке.

— И вы разобрали его?

— Без труда. Такие ли шифры мне случалось разбирать! Обстоятельства и природная склонность

ума заставили меня интересоваться подобного рода загадками, и я сомневаюсь, чтобы человеческое остроумие могло изобрести такой шифр, которого человеческое же остроумие, надлежащим образом направленное, не в силах было бы разгадать. Получив зашифрованный текст в приличной сохранности, я никогда не затруднялся разгадать его смысл.

В данном случае, как, впрочем, и во всех шифрах, прежде всего нужно было решить вопрос о языке текста, так как принципы расшифровки особенно простых шифров зависят от строя языка и соответственно различаются. Чаще всего приходится просто пробовать один за другим все известные вам языки, пока не нападёшь, наконец, на верный след. Но здесь это затруднение устранялось подписью. Игра слов «Kidd» и «kid» говорила в пользу английского языка. Не будь этого, я начал бы с испанского или французского, так как пираты испанского побережья воспользовались бы, всего вероятнее, этими языками. Но в данном случае я предположил, что криптограмма написана по-английски.

Вы замечаете, что текст здесь идёт в сплошную строку? Если бы отдельные слова были выделены, задача значительно упростилась бы. В таком

случае я начал бы с анализа самых коротких слов и, если бы попалось слово, состоящее из одной буквы (вроде, например, союза и или местоимения я), я считал бы свою задачу решённой. Но раз деления на слова не было, мне предстояло определить сравнительную частотность знаков в этом тексте. Подсчитав их, я составил следующую табличку:

Знак **8** повторяется 33 раза
знак ; повторяется 27 раз
знак **4** повторяется 19 раз
знак ‡ **)** повторяется 16 раз
знак * повторяется 13 раз
знак **5** повторяется 12 раз
знак **6** повторяется 11 раз
знак † **1** повторяется 8 раз
знак **0** повторяется 6 раз
знак **9 2** повторяется 5 раз
знак **:3** повторяется 4 раза
знак ? повторяется 3 раза
знак **π** повторяется 2 раза
знак — повторяется 1 раз.

В английском языке чаще всего, как известно, встречается буква **e**. Частотность других букв следует в таком порядке:

a, o, i, d, h, n, r, s, t, и, y, c, f, g, l, т, w, b, k, p, q, x, z.

Буква **e** настолько преобладает, что в маломальски длинной фразе это почти всегда самая частая буква.

Итак, у нас уже с самого начала есть база для поисков — не одни догадки. Ясно, какое употребление можно сделать из подобной таблицы, но в этом шифре она нам поможет лишь в известной степени. Начнём с того, что будем считать преобладающий знак **8** за букву **e**. Чтобы проверить это предположение, посмотрим, встречается ли в нашем тексте **8** два раза подряд, потому что буква **e** в английском языке очень часто удваивается, например в словах **meet**, **fleet**, **speed**, **seen**, **been**, **agree** и т. д. Здесь, как видите, знак **8** удваивается пять раз, хотя криптограмма очень короткая.

Итак, пусть **8** означает **e**. Теперь, из всех слов в английском языке самое употребительное — определённый артикль **the**. Следовательно, надо посмотреть, не повторяется ли тут несколько раз одно и то же сочетание из трёх знаков, в котором последним был бы знак **8**. Если мы найдём такие сочетания, то очень вероятно, что они будут представлять слово **the**. Рассмотрев криптограмму,

мы находим не менее семи раз сочетание знаков **;48**. Мы можем, следовательно, предположить, что знак ; означает **t**, **4** — **h**, а **8** — **e**, значение последнего, таким образом, вновь подтверждается. Вот уже важный шаг вперёд.

Мы определили только одно слово, но это уже даёт нам громадное преимущество: позволяет определить границы некоторых других слов.

Возьмём, например, предпоследнее сочетание знаков **;48**. Следующий за ним знак **(** является, очевидно, начальной буквой другого слова, а из пяти дальнейших знаков мы знаем целых четыре. Заменим же эти шесть знаков соответствующими им буквами, оставив свободное место для неизвестной: **t□eeth**.

Прежде всего нужно отделить буквы **th**, потому что такого окончания нет ни у одного слова, начинающегося с **t**. В этом легко убедиться, поставив все буквы алфавита по очереди на место недостающей. Отделив **th**, мы получаем **t□ee** и опять-таки, перепробовав, если нужно, все буквы алфавита, убеждаемся, что оно может быть только словом: **tree** (дерево).

Таким образом, мы узнали ещё букву **r**, обозначаемую посредством знака **(**, и получили слова **the tree**.

Несколько дальше мы вновь встречаем сочетание **;48**. Пользуемся им, чтобы определить конец фразы. Мы имеем следующий ряд:

the tree;4(‡?34the.

Заменив известные уже нам знаки буквами, получаем:

the tree thr‡?3h the

Теперь, подставив вместо неизвестных нам знаков точки, читаем:

the tree thr...h the

Тут слово **through** (через) напрашивается, так сказать, само собою. Но это открытие даёт нам ещё три буквы: **o**, **u**, **g**, обозначаемые посредством †, ? и **3**.

Если поищем теперь внимательно в криптограмме сочетания известных нам букв, то найдем недалеко от начала группу **83 (88**, или **egree**, которая, очевидно, может быть только окончанием слова **degree** (градус) и даёт нам ещё букву **d**, обозначаемую знаком +.

Через четыре знака после слова degree встреча-

ем сочетание:

;46(;88*.

Заменив известные нам знаки буквами, а неизвестные точками, получим: **th.rtee.**, что немедленно приводит нас к слову **thirteen** (тринадцать). Мы узнаём, таким образом, ещё две буквы **i** и **p**, обозначаемые посредством **6** и ***.

Обращаясь к началу криптограммы, находим сочетание:

53‡†

Подставляя буквы, как мы уже это делали, мы читаем **good** (хорошее), откуда следует, что первый знак есть **a**, а первые два слова: **A good**.

Теперь, чтобы не запутаться, расположим результат наших изысканий в виде таблички. Тогда у нас будет начало ключа:

5 означает a
† означает d
8 означает e
3 означает g
4 означает h
6 означает i

* означает n
‡ означает o
(означает r
; означает t

Таким образом, мы определили десять самых важных букв. Я думаю, что нет надобности объяснять вам дальше, как я разгадал остальные. Вам теперь ясно, в чём суть подобного шифра и как найти к нему ключ. Но заметьте, что эта криптограмма относится к разряду самых простых. Теперь мне остаётся только заменить все знаки буквами, то есть дать вам полный перевод шифра. Вот он:

A good glass in the bishops hostel in the devil‧s seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death‧s-head a bee line from the tree through the shot fifty feet out

«Хорошее стекло в доме епископа на чёртовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут норд-норд-ост главный сук седьмая ветвь восточная сторона стрелять из левого глаза мёртвой головы

прямая линия от дерева через выстрел на пятьдесят футов дальше».

— Что же, — сказал я, — всё это не намного яснее, чем было раньше. Это же сущая тарабарщина: «дом епископа», «мёртвая голова» и «чёртов стул».

— Не спорю, — ответил Легран, — на первый взгляд текст кажется довольно тёмным. Прежде всего я постарался разбить его на отдельные фразы.

— То есть расставить знаки препинания?

— Ну да, нечто в этом роде.

— Но как же вам это удалось?

— Я предположил, что автор криптограммы нарочно не ставил знаков препинания, чтобы затруднить разгадку шифра. Задавшись такой целью, человек не очень тонкий непременно должен был перейти меру. Там, где кончается фраза и требуется пауза, он, наоборот, ставит слова теснее, чем в остальном тексте. Вглядитесь в рукопись внимательнее, и вы найдёте пять таких мест. Основываясь на этом, я разделил текст следующим образом:

«Хорошее стекло в доме епископа на чёртовом стуле – двадцать один градус и

тринадцать минут – норд-норд-ост – главный сук седьмая ветвь восточная сторона – стрелять из левого глаза мёртвой головы – прямая линия от дерева через выстрел на пятьдесят футов дальше».

— Допустим, — заметил я, — но всё равно смысл остаётся для меня тёмен.

— И для меня он оставался тёмным, — возразил Легран, — в течение нескольких дней, пока я разузнавал, нет ли где по соседству с островом Сэлливан какого-нибудь строения, называемого «дом епископа».

Не добившись толку, я намеревался расширить сферу моих поисков и приняться за них более систематично, когда однажды утром мне пришло в голову, что слова «дом епископа» (Bishop's hostel) могут относиться к старинной фамилии Bessop, когда-то, в незапамятные времена, владевшей старинной усадьбой в пяти милях к северу от острова. Я отправился туда и принялся расспрашивать старых негров на плантации. Наконец, одна древняя старушка сообщила мне, что она слыхала про место, называемое «Замок епископа», и может показать мне его, но что это вовсе не замок, а высокая скала.

Я обещал хорошо заплатить ей за труды, и после некоторого колебания она согласилась провести меня к «замку». Мы нашли его без особых затруднений; затем я отпустил её и принялся за исследование местности. «Замок» состоял из группы скал и утёсов; один из них особенно выделялся своей высотой и формой, напоминавшей искусственное сооружение. Я взобрался на его вершину и некоторое время пребывал в растерянности, не зная, что предпринять.

Пока я размышлял, взгляд мой упал на узкий выступ на восточной стороне утёса, приблизительно на один ярд ниже того места, где я стоял. Он выдавался дюймов на восемнадцать, а в ширину имел не более фута; над ним в стене утёса находилось углубление, так что, в общем, он был похож на старинные стулья с изогнутыми спинками. Я сразу же понял, что это и есть «чёртов стул», о котором упоминается в рукописи, и ключ к разгадке был у меня в руках.

«Хорошее стекло» могло означать только подзорную трубу, так как слово «стекло» часто употребляется моряками именно в этом смысле. Очевидно, нужно было смотреть отсюда в подзорную трубу из определённого фиксированного положения. Слова «двадцать один градус три-

надцать минут» и «норд-норд-ост» указывали направление трубы. Взволнованный этими открытиями, я поспешил домой, взял подзорную трубу и вернулся на утёс.

Спустившись на выступ, я убедился, что на нём можно было сидеть только в одном определённом положении. Это подтверждало мои догадки. Я взялся за подзорную трубу. Слова «двадцать один градус тринадцать минут» могли относиться только к высоте над видимым горизонтом, так как горизонтальное направление указывалось в словах «норд-норд-ост». Определив его с помощью карманного компаса, я установил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать её по вертикали, пока взгляд мой не задержался на круглом просвете в листве огромного дерева, намного возвышавшегося над другими. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но сначала не мог разобрать, что оно собою представляет. Отрегулировав, наконец, трубу, я убедился, что это был человеческий череп.

Теперь загадка была окончательно решена, потому что слова «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» могли относиться только к положению черепа на дереве, а выражение «стре-

лять из левого глаза мёртвой головы» допускало тоже лишь одно объяснение:

нужно опустить пулю через левую глазницу черепа. Далее следовало провести «прямую линию» от ближайшей точки дерева через «выстрел», то есть через место падения пули, и отмерить пятьдесят футов в том же направлении. Таким образом определялось место, в котором могло быть зарыто сокровище.


G. C. WIDNEY 1901

— Вот это, — сказал я, — звучит очень убедительно и, при всей запутанности дела, просто и логично. Что же вы предприняли дальше?

— Заметив хорошенько дерево, я вернулся домой. Как только я встал с «чёртова стула», просвет в листве дерева исчез, и я не мог его больше найти, как ни старался. Всё остроумие замысла, по-моему, в том и заключается, что этот просвет, как я убедился, повторив опыт несколько раз, можно видеть лишь с единственного пункта — с узкого выступа скалы.

В этой экскурсии к «дому епископа» меня сопровождал Юпитер, который, без сомнения, заметил моё странное поведение за последнее время и решительно не отставал от меня ни на шаг. Но на следующий день я поднялся очень рано, ускользнул от него и отправился разыскивать дерево. Я нашёл его с большим трудом.

Когда я вернулся вечером домой, Юпитер хотел поколотить меня. Что было дальше, вы знаете теперь сами.

— Надо думать, — сказал я, — в первый раз вы ошиблись местом по милости Юпитера, опустившего жука не в левую, а в правую глазницу черепа?

— Разумеется. Разница составляла всего два с

половиной дюйма в отношении «выстрела», то есть первого колышка, и если бы сокровище находилось под «выстрелом», эта ошибка не имела бы значения. Но «выстрел» и ближайшая к нему точка дерева указывали только направление, и как бы ни была незначительна разница в исходном пункте, она возрастала по мере удаления от дерева, а на расстоянии пятидесяти футов делалась очень существенной. Не будь я так глубоко убеждён, что зарытое сокровище находится где-нибудь поблизости, все наши труды пропали бы даром.

— Должно быть, пиратская эмблема навеяла Кидду эту странную причуду с черепом, в глазницу которого надо было опускать пулю. Вернуть себе сокровища через посредство своей эмблемы — для него в этом, наверное, была некая зловещая поэзия.

— Возможно, что и так; хотя мне думается, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чёртова стула» небольшой предмет на ветке дерева можно только при условии, что он будет белый. А что сравнится с черепом, который не только не темнеет от дождей и непогоды, но становится всё белее и белее?

— Ну, а ваш торжественный вид, ваша загадочная возня с жуком — что это за чудачество? Я был уверен, что вы помешались! И почему вам вздумалось вместо пули опустить в череп непременно жука?

— Видите ли, сказать правду, я был раздосадован вашими сомнениями насчёт моего рассудка и решил отплатить вам маленькой мистификацией. Вот почему я проделывал все эти штуки с жуком и воспользовался им вместо пули. Ваше замечание о его тяжести подало мне эту мысль.

— Да… понимаю. Теперь остаётся ещё один вопрос. Откуда взялись скелеты, что мы отрыли?


БЫТЬ МОЖЕТ, ДВУХ УДАРОВ ЛОМА СВЕРХУ, ПОКА ЕГО ПОМОЩНИКИ ВОЗИЛИСЬ В ЯМЕ, ОКАЗАЛОСЬ ДОСТАТОЧНО...

— Ну, об этом я знаю так же мало, как и вы. По-видимому, тут возможно только одно объяснение, хотя оно предполагает почти невообразимую жестокость. Ясно, что Кидд — если только это сокровище Кидда, в чём я не сомневаюсь, — не мог зарыть клад один. Но, когда работа была окончена, он счёл за лучшее отделаться от посвящённых в его тайну. Быть может, двух ударов лома сверху, пока его помощники возились в яме, оказалось достаточно, быть может, понадобился целый десяток… Кто скажет нам это?..

Рукопись, найденная в бутылке

Qui n'a plus qu'un moment a vivre,
N'a plus rieu a dissimuler.

P. Quinault «Atys»

Кому осталось жить мгновенье,
Тот ничего не утаит.

Филипп Кино «Атис»

О моей родине и семье не стоит говорить. Людская несправедливость и круговорот времени принудили меня расстаться с первой и прекратить сношения со второй. Наследственное состояние дало мне возможность получить исключительное образование, а созерцательный склад ума помог привести в порядок знания, приобретённые прилежным изучением. Больше всего я увлекался произведениями германских философов; не потому, что восхищался их красноречивым безумием, — нет, мне доставляло большое удовольствие подмечать и разоблачать их слабые стороны, в чём помогала мне привычка к строгому критическому мышлению. Мой гений часто упрекали в сухости; недостаток воображения ставили мне в упрёк; и я всегда славился

пирроновским[54] складом ума. Действительно, крайнее пристрастие к точным наукам заставляло меня впадать в ошибку, весьма обычную в этом возрасте: я подразумеваю склонность подводить под законы точных наук всевозможные явления, даже решительно неподводимые. Вообще, я, менее чем кто-либо, способен был променять строгие данные истины на суеверия. Я говорю об этом потому, что рассказ мой покажется иному скорее грёзой больного воображения, чем отчётом о действительном происшествии с человеком, для которого грёзы воображения всегда были мёртвой буквой или ничем.

Проведя несколько лет в путешествиях, я отправился в 18… году из порта Батавия на богатом и многолюдном острове Ява к Зундскому архипелагу. Я ехал в качестве пассажира, побуждаемый какою-то болезненной непоседливостью, которая давно уже преследовала меня.

Наш корабль был прекрасное судно в четыреста тонн, с медными скрепами, выстроенный в Бомбее из малабарского тикового дерева. Он вёз

---

[54] Примечания: 54

Пиррон — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма.

груз хлопка и масла с Лакедивских островов[55], — сверх того, запас кокосового охлопья, кокосовых орехов и несколько ящиков опиума. Вследствие небрежной нагрузки корабль был очень валок.

Мы тихонько ползли под ветром вдоль берегов Явы, и в течение многих, многих дней ничто не нарушало однообразия путешествия, кроме мелких судёнышек, попадавшихся навстречу. Однажды вечером, стоя у гакаборта[56], я заметил на северо-западе странное, одинокое облако. Оно бросилось мне в глаза своим странным цветом; к тому же оно было первым облаком, замеченным нами после отплытия из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до солнечного заката, когда оно охватило значительную часть неба с запада на восток в виде узкой гряды, напоминавшей низкий морской берег. Вскоре внимание моё было привлечено необычайно красным цветом луны. Море также изменилось и стало удивительно прозрачным. Я совершенно ясно различал дно, хотя лот показывал глубину в

---

[55] Примечания: 55

Лакеди*в*ские (Лаккадивские) острова — архипелаг в Индийском океане.

[56] Примечания: 56

Гакаборт — верхняя закруглённая часть кормовой оконечности судна.

пятнадцать фатомов[57]. Воздух был невыносимо душен и поднимался спиральными струями, как от раскалённого железа.

С наступлением ночи ветер упал, и наступило глубокое, совершенное затишье. Пламя свечи, стоявшей на корме, даже не шевелилось, волосок, зажатый между большим и указательным пальцами, висел неподвижно. Как бы то ни было, капитан сказал, что не замечает никаких признаков опасности, и, так как течение относило нас к берегу, велел убрать паруса и бросить якорь. Он не счёл нужным поставить вахтенных, и матросы, большею частью малайцы, беспечно растянулись на палубе, а я спустился в каюту не без дурных предчувствий. Действительно, всё предвещало шторм. Я сообщил о своих опасениях капитану, но он не обратил внимания на мои слова, даже не удостоил меня ответом. Беспокойство не позволило мне уснуть, и, около полуночи, я снова пошёл на палубу, но не успел доставить ногу на верхнюю ступеньку лестницы, как раздался громкий, жужжащий гул, подобный шуму мельничного колеса, и корабль заходил ходуном. Ещё мгновение — и чудовищный вал швырнул

---

[57] Примечания: 57
Фатом, или морская сажень — 1,8288 метра.

нас набок, окатив всю палубу, от кормы до носа.

Бешеная сила урагана спасла корабль от потопления. Он наполовину погрузился в воду, но, потеряв все мачты, которые снесло за борт, тяжело вынырнул, зашатался под напором ветра и, наконец, выпрямился.

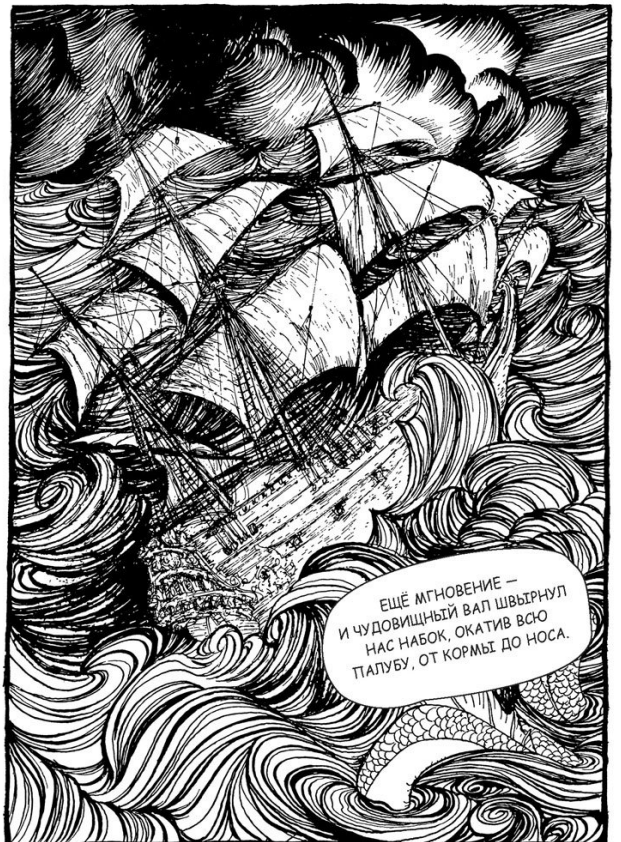
Каким чудом я избежал гибели, решительно не понимаю. Я был совсем оглушён, а когда очнулся, оказался стиснутым между ахтерштевнем[58] и рулём. С трудом поднявшись на ноги, я дико огляделся, и в первую минуту мне показалось, что мы попали в сферу прибоя: так бешено крутились громадные валы. Немного погодя я услышал голос старого шведа, который сел на корабль в минуту отплытия из Батавии. Я отозвался, крикнув изо всех сил, и он кое-как пробрался ко мне. Вскоре мы убедились, что, кроме нас двоих, никто не пережил катастрофы. Всех находившихся на палубе смыло волной; капитан и его помощники, без сомнения, тоже погибли, так как каюты были затоплены. Вдвоём мы не могли справиться с судном, тем более что были обессилены ожиданием гибели. Канат, без сомнения, лопнул, как нитка, при первом натиске урагана, — иначе корабль

---

[58] Примечания: 58

Ахтерштевень — продолжение кормовой части судна, опора для руля.

разбился бы мгновенно. Мы неслись в море с ужасающей быстротой; волны то и дело заливали палубу. Кормовая часть сильно пострадала, да и всё судно расшаталось, но, к великой нашей радости, помпы оказались неповреждёнными. Ураган ослабел, утратив бешеную силу первого натиска, и мы не особенно опасались ветра, но с ужасом ожидали его полного прекращения, так как были уверены, что расшатавшееся судно не вынесет мёртвой зыби. По-видимому, однако, этим опасениям не суждено было скоро оправдаться. Пять дней и пять ночей, в течение которых мы поддерживали своё существование несколькими горстями тростникового сахара, который нам с великим трудом удалось добыть на баке, пять дней и пять ночей судно неслось с невероятною быстротой, подгоняемое ветром, который, хотя и утратил свою первоначальную силу, но всё-таки был сильнее всякого урагана, какой мне когда-либо случалось испытать.


ЕЩЁ МГНОВЕНИЕ —
И ЧУДОВИЩНЫЙ ВАЛ ШВЫРНУЛ
НАС НАБОК, ОКАТИВ ВСЮ
ПАЛУБУ, ОТ КОРМЫ ДО НОСА.

В первые четыре дня он дул почти всё время на юг и юго-запад и, очевидно, гнал нас вдоль берегов Новой Голландии. На пятый день холод усилился до крайности, хотя ветер переменился. Солнце казалось тусклым медно-жёлтым пятном и поднялось над горизонтом всего на несколько градусов, почти не давая света. Облаков не было, но ветер дул с порывистым бешенством. Около полудня (по нашему приблизительному расчёту) внимание наше снова привлечено было солнцем. Собственно говоря, оно вовсе не светило, а имело вид тусклой красноватой массы без всякого блеска, как будто все лучи его были поляризованы. Перед самым закатом его центральная часть разом исчезла, точно погашенная какой-то сверхъестественной силой. Только матовый серебряный обруч опустился в бездонный океан.

Мы тщетно дожидались наступления шестого дня, — он не наступил ни для меня, ни для шведа. Мы оставались в непроглядной тьме, так что не могли различить ничего за двадцать шагов от корабля. Вечная ночь окружала нас, не смягчаемая даже фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками.

Мы заметили также, что, хотя буря свирепствовала с неослабевающей яростью, волны уже не

пенились и потеряли вид прибоя. Нас поглотила зловещая ночь, непроглядная тьма, удушливая, чёрная пустыня!

Мало-помалу суеверный ужас закрался в душу старика шведа, да и я погрузился в безмолвное уныние. Мы предоставили корабль на волю судьбы, сознавая, что наши усилия всё равно ни к чему не приведут, и, приютившись у остатка бизань-мачты, угрюмо всматривались в океан. Мы не могли следить за временем или определить, где находимся. Очевидно, нас занесло далее к югу, чем удавалось проникнуть кому-либо из прежних мореплавателей. Мы удивлялись только, что не встречаем ледяной преграды. Между тем, каждая минута грозила нам гибелью, исполинские валы поднимались со всех сторон. Я во всю мою жизнь не видал такого волнения. Истинное чудо, что мы уцелели до сих пор.

Спутник мой приписывал это незначительности груза и старался ободрить меня, напоминая о прочности нашего корабля, но я чувствовал полную невозможность какой-либо надежды и угрюмо готовился к смерти, ожидая её с минуты на минуту, так как чем дальше подвигался корабль, тем яростнее бушевала зловещая чёрная пучина. То мы задыхались от недостатка

воздуха, поднявшись выше птичьего полёта, то с головокружительной быстротой слетали в водяную бездну, где воздух отзывался болотной сыростью, и ни единый звук не нарушал дремоты кракенов[59].

Мы находились на дне такой бездны, когда громкое восклицание моего товарища раздалось среди ночной темноты:

— Смотри! Смотри! — крикнул он мне в ухо. — Боже всемогущий! Смотри! Смотри!

Тут я заметил странный тусклый красноватый свет, озаривший чуть брезжущим блеском нашу палубу. Следя за ним глазами, я поднял голову и увидал зрелище, оледенившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на гребне колоссального вала, возвышался гигантский, тысячи в четыре тонн, корабль. Хотя высота волны раз во сто превосходила его высоту, он всё-таки казался больше любого линейного корабля. Его громадный корпус был густого чёрного цвета, без всякой резьбы или украшений. В открытые люки высовывался ряд медных пушек, блестящие дула которых отражали свет бесчисленных фонарей, развешанных по снастям. Но

---

[59] Примечания: 59

Кр*а*кен — мифическое морское чудовище.

всего более поразило нас ужасом и удивлением то обстоятельство, что он шёл на всех парусах в этом водовороте бешеных валов под напором неукротимого вихря. В тот миг, когда мы заметили его, он медленно вздымался из мрачной зловещей пропасти. С минуту он простоял на гребне, точно любуясь собственным великолепием, потом задрожал, пошатнулся и — рухнул вниз.

В эту минуту какое-то удивительное спокойствие овладело моей душой. Я отполз, как можно дальше, на корму и бесстрашно ожидал падения, которое должно было потопить нас. Наш корабль уже перестал бороться и погрузился носом в море. Низринувшаяся громада ударилась в эту часть, уже находившуюся под водой, причём корму, разумеется, вскинуло кверху, а меня швырнуло на снасти чужого корабля.

Вероятно, меня не заметили в суматохе. Я без труда пробрался к главному люку, который оказался незапертым, и спрятался в трюм. Почему я сделал это — сам не знаю. Неизъяснимое чувство страха при виде этих странных мореплавателей, вероятно, было тому причиной. Я не решался довериться таким странным, сомнительным, необычайным людям.

Не успел я спрятаться, как послышались чьи-то

шаги. Кто-то прошёл мимо моего убежища неверной и слабой походкой.

Я не мог разглядеть лица его, но общий вид его указывал на преклонный возраст или недуг. Колени его дрожали, и всё тело сгорбилось под бременем лет. Он что-то бормотал себе под нос слабым прерывающимся голосом, на непонятном языке, копаясь в углу, в груде каких-то странных инструментов и старых морских карт. Движения его представляли удивительную смесь раздражительности, второго детства и величавого достоинства.

Наконец он ушёл на палубу, и я не видал его более.

* * *

Чувство, которому нет названия, овладело моей душой — ощущение, которое не поддаётся исследованию, не находит подобия в опыте прошлых лет и едва ли найдёт разгадку в будущем. Это последнее особенно неприятно человеку с моим складом ума. Я никогда — сам знаю, что никогда — не найду удовлетворительного объяснения моим теперешним мыслям. Но удивительно ли, что мысли эти не поддаются определению, раз они возникли из таких новых источников. Новое

чувство, новая составная часть прибавилась к моей душе.

* * *

Много времени прошло с тех пор, как я вступил на палубу этого корабля, и лучи моей судьбы, кажется, сосредоточились в одном фокусе. Непонятные люди! Погружённые в размышления, сущность которых я не могу угадать, они не замечают моего присутствия. Прятаться мне нет смысла, потому что они не хотят меня видеть. Сейчас я прошёл мимо помощника, а незадолго перед тем явился в каюту капитана и взял там письменные принадлежности, чтобы составить эти записки. Время от времени я буду продолжать их. Неизвестно, конечно, удастся ли мне передать их миру, но я, по крайней мере, сделаю попытку. В последнюю минуту я положу рукопись в бутылку и брошу её в море.

* * *

Ещё происшествие, доставившее мне новую пищу для размышлений. Неужели такие явления дело слепой судьбы? Я вышел на палубу и, не привлекая ничьего внимания, бросился на груду

старых парусов. Размышляя о своей необычайной судьбе, я машинально водил дегтярной кистью по краям тщательно сложенного лиселя[60], лежавшего подле меня на бочонке. Лисель упал на палубу, развернулся, и я увидел, что из моих случайных мазков составилось слово «открытие».

Я познакомился с устройством корабля. Это хорошо вооружённое, но, по-видимому, не военное судно. Его оснастка, корпус, вся экипировка говорят против этого предположения. Вообще, я вижу ясно, чем он не может быть, но что он есть, невозможно понять. Не знаю почему, но при виде его странной формы, необычайной оснастки, огромных размеров и богатого запаса парусов, простого, без всяких украшений, носа и устарелой конструкции кормы мне мерещится что-то знакомое, что-то напоминающее о старинных летописях и давно минувших веках.

* * *

Рассматривал брёвна корабля. Он выстроен из незнакомого мне материала. Дерево особенное, на первый взгляд совсем не годное для постройки судна. Меня поражает его пористость — неза-

---

[60] Примечания: 60

Лисель — небольшой прямоугольный парус.

висимо от ветхости и червоточины, обычной в этих морях. Быть может, слова мои покажутся слишком странными, но это дерево напоминает испанский дуб, растянутый какими-то сверхъестественными средствами.

Перечитывая эти строки, я припомнил замечание одного старого опытного голландского моряка.

— Это верно, — говаривал он, когда кто-нибудь выражал сомнение в его правдивости, — так же верно, как то, что есть море, где корабль растёт, точно человеческое тело.

* * *

Час тому назад я смешался с толпой матросов. Они не обратили на меня ни малейшего внимания и, по-видимому, вовсе не замечали моего присутствия, хотя я стоял посреди толпы. Как и тот человек, которого я увидел в первый раз, все они обнаруживали признаки глубокой старости. Колени их тряслись, плечи сгорбились, кожа висела складками, разбитые старческие голоса шамкали чуть слышно, глаза слезились, седые волосы развевались по ветру. Вокруг них по всей палубе были разбросаны математические приборы самой странной, устарелой конструкции.

* * *

Упомянув выше о лиселе, я заметил, что он был свёрнут. С тех пор корабль продолжает свой страшный бег к югу, при кормовом ветре, распустив все паруса от клотов до унтер-лиселей, среди адского волнения, какое не снилось ни единому смертному. Я спустился в каюту, так как не мог стоять на палубе, хотя экипаж судна, повидимому, не испытывает никаких затруднений. Мне кажется чудом из чудес, что наш громадный корабль не был поглощён волнами. Видно, нам суждено было оставаться на пороге вечности, но не переступать за него. Среди чудовищных волн, в тысячу раз превосходивших самое страшное волнение, какое мне когда-либо случалось видеть, мы скользили, как чайка, и грозные валы вздымались, точно демоны, из пучины вод, угрожая разрушением, но не смея исполнить угрозу. В объяснение этого я могу указать лишь одну естественную причину. Надо полагать, что корабль наш двигался под влиянием какого-нибудь сильного течения.

* * *

Я видел капитана лицом к лицу, в его собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Случайный наблюдатель не заметил бы в нём ничего особенного, чуждого природе человеческой, тем не менее я смотрел на него со смешанным чувством удивления, почтения и страха. Он приблизительно одного со мною роста, то есть около пяти футов и восьми дюймов. Сложён хорошо, стройно, не слишком дюж, не слишком хил. Но странное выражение лица — поразительная, резкая, бьющая в глаза печать страшной, глубокой старости — возбуждает во мне чувство неизъяснимое… Лоб его не слишком изборождён морщинами, но, кажется, будто над ним отяготели мириады лет. Седые волосы его — летопись прошлого, серые глаза — сивиллины[61] книги будущего. Каюта завалена странными фолиантами с железными застёжками, попорченными инструментами, старинными, давно забытыми картами. Он сидел, подперев голову руками, и с беспокойством перечитывал какую-то бумагу, по-видимому,

[61] Примечания: 61
Сив*и*лла — древнегреческая пророчица.

официальную: я заметил на ней королевскую печать. Он что-то ворчал себе под нос, как первый моряк, которого я видел, что-то неразборчивое, брюзгливое, на незнакомом мне языке; и, хотя я сидел с ним бок о бок, голос его слышался мне точно издали.

* * *

Корабль и всё, что на нём находится, запечатлены печатью старости. Люди бродят по палубе, как тени минувших веков; в глазах их отражается нетерпение и тревога, и, когда они попадаются мне навстречу, озарённые фантастическим светом фонарей, мной овладевает чувство, которого я никогда не испытывал, хотя всю жизнь занимался древностями, хотя блуждал в тени развалин Баальбека, Тадмора, Персеполя, пока душа моя сама не превратилась в развалину.

* * *

Глядя вокруг себя, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от страха, когда ураган сорвал нас с якоря, то что же должен бы был чувствовать теперь, среди этого адского разгула волн и ветра, о котором не дадут никакого понятия

слова «смерч» и «торнадо». Вокруг нас непроглядная чёрная ночь, хаос тёмных, без пены, валов, и только на расстоянии мили по обе стороны корабля неясно обрисовываются в зловещей тьме громады льдов — точно стены вселенной.

* * *

Как и я думал, корабль увлечён течением, если только можно применить это название к потоку, который мчится с рёвом и воем, сокрушая встречные льды, по направлению к югу, с быстротой водопада головокружительной.

* * *

Невозможно передать мой ужас, — однако стремление проникнуть в тайны этих зловещих стран вытесняет даже отчаяние и примиряет меня с самой ужасной смертью. Очевидно, мы лицом к лицу с великим открытием, с тайной, разоблачение которой будет гибелью. Быть может, этот поток влечёт нас к Южному полюсу. Надо сознаться, что в пользу этого предположения, при всей его кажущейся нелепости, говорит многое.

* * *

Экипаж беспокойно расхаживает по палубе, но я читаю на лицах скорее надежду, чем равнодушие и отчаяние.

Ветер, как и прежде, в корму, и так как все паруса распущены, то по временам корабль буквально взлетает над водою! О, ужас из ужасов! Лёд расступается направо и налево, мы бешено мчимся громадными концентрическими кругами вдоль окраины чудовищного амфитеатра, стены которого теряются во тьме. Круги быстро сужаются — мы захвачены водоворотом — и, среди рёва, свиста, визга океана и бури, корабль сотрясается и — о, боже! — идёт ко дну![62]

[62] Примечания: 62

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке», напечатана в 1831 г., и только много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан впадает четырьмя потоками в полярную (северную) пучину, где исчезает в недрах земли. Самый полюс изображён в виде чёрной скалы, поднимающейся на громадную высоту.

Маска красной смерти

«Красная смерть» давно уже опустошала страну. Не бывало ещё моровой язвы, столь отвратительной и роковой. Кровь была её знаменем, и печатью — ужасный багрянец крови. Острая боль, внезапное головокружение, — затем кровавый пот изо всех пор и разложение тела. Багровые пятна на теле, а в особенности на лице, были печатью отвержения, которая лишала жертву всякой помощи и участия со стороны ближних; болезнь наступала, развивалась и заканчивалась в какие-нибудь полчаса.

Но принц Просперо был счастлив, отважен и изобретателен. Когда язва наполовину опустошила его владения, он собрал вокруг себя тысячу храбрых и беспечных друзей, придворных кавалеров и дам и вместе с ними затворился от мира в одном из своих укреплённых аббатств. Это было огромное и великолепное здание, выстроенное по странному, но величественному плану самого принца. Высокая крепкая стена с железными воротами окружала его. Вступив в замок, придворные тотчас же взялись за па-

яльники и крепкие молотки и наглухо запаяли все засовы. Они решились уничтожить всякую возможность отчаянного вторжения извне или безумной попытки к выходу из замка. Аббатство было в изобилии снабжено припасами. Благодаря этим предосторожностям придворные могли смеяться над чумой. Пусть внешний мир сам о себе заботится. В такое время было бы безумием размышлять и горевать. Принц запасся всеми средствами к увеселениям. Не было недостатка в шутах, импровизаторах, танцовщицах, музыкантах, красавицах, вине. Всё это и безопасность соединились в замке. Снаружи свирепствовала «красная смерть».

В конце пятого или шестого месяца этой замкнутой жизни, когда чума свирепствовала с небывалым бешенством, принц Просперо устроил для своих друзей маскарад, обставленный с неслыханным великолепием.

Роскошную сцену представлял маскарад. Но сначала позвольте мне описать залы, в которых он происходил. Их было семь — царственная анфилада! Во многих дворцах подобные анфилады устраиваются в один ряд, так что, когда распахнутся двери, весь ряд можно окинуть одним взглядом. Здесь было совершенно иное, как

и следовало ожидать от принца с его пристрастием к необычайному. Комнаты расположены были так неправильно, что нельзя было окинуть взглядом более одной зараз. Через каждые двадцать или тридцать ярдов — крутой поворот, и при каждом повороте — новое зрелище. Направо и налево, в середине каждой стены, высокое и узкое готическое окно выходило в крытый коридор, окаймлявший анфиладу по всей длине её. Разноцветные стёкла этих окон согласовались с преобладающей окраской убранства каждой залы. Например, зала на восточном конце здания была обита голубым, и стёкла были ярко-голубого цвета. Во второй зале, с пурпурными коврами и завесами, стёкла были тоже пурпурные. В третьей, зелёной, — зелёные. Четвёртая, оранжевая, освещалась жёлтыми окнами, пятая — белыми, шестая — фиолетовыми. Седьмая зала убрана была чёрными бархатными завесами, одевавшими потолок, стены и ниспадавшими тяжёлыми складками на такой же чёрный ковёр. Но здесь цвет стёкол не соответствовал убранству. Он был ярко-красный — цвета крови. Ни в одной из семи зал нельзя было заметить люстры или канделябра среди множества золотых украшений, рассеянных повсюду, свешивавшихся с потолков.

Во всей анфиладе не было ни одной лампы или свечи; но в окаймлявшем её коридоре против каждого окна возвышался тяжёлый треножник, на котором пылал огонь, ярко озарявший залы сквозь цветные стёкла. Это производило поразительный фантастический эффект. Но в западной чёрной комнате костёр, струивший потоки света сквозь кроваво-красные окна, производил такое зловещее впечатление и придавал лицам присутствовавших такое дикое выражение, что лишь немногие решались входить в эту комнату.

В этой же зале стояли у западной стены огромные часы из чёрного дерева. Маятник качался взад и вперёд с глухим, унылым, однообразным звуком, а когда минутная стрелка делала полный круг и часы начинали бить, из медных лёгких машины вылетал чистый, громкий звук, необыкновенно певучий, но такой странный и сильный, что музыканты в оркестре останавливались, танцоры прекращали танец; смущение овладевало весёлой компанией, и, пока раздавался бой, самые беспечные бледнели, а старейшие и благоразумнейшие проводили рукой по лбу, точно отгоняя смутную мысль или грёзу. Но бой замолкал, и веселье снова охватывало всех. Музыканты переглядывались с улыбкой, как бы сами смеясь

над своей глупою тревогою, и шёпотом обещали друг другу, что следующий бой не произведёт на них такого впечатления. И снова, по прошествии шестидесяти минут (что составляет три тысячи шестьсот секунд быстролётного времени), раздавался бой часов, и снова смущение, дрожь и задумчивость овладевали собранием.

При всём том праздник казался весёлым и великолепным. Вкусы герцога отличались странностью. Он был тонким знатоком красок и эффектов, но презирал моду ради моды. Планы его были смелы и дерзки, замыслы полны варварского великолепия. Иные сочли бы его сумасшедшим, но его приближённые чувствовали, что это не так. Необходимо было видеть, слышать и знать его лично, чтобы быть уверенным в этом.

Он сам распоряжался убранством семи зал для этого величественного праздника; по его же указаниям были сшиты костюмы. Понятно, что они отличались причудливостью. Много тут было блеска, пышности, оригинального и фантастического, — что впоследствии можно было видеть в «Эрнани». Были причудливые фигуры, вроде арабесок с нелепо вывороченными членами и придатками. Были безумные фантастические привидения, подобные грёзам сумасшедшего. Бы-

ло много прекрасного, много щегольского, много необычного; было кое-что страшное и немало отвратительного. Толпы призраков сновали по залам, мелькали и корчились, меняя оттенок, смотря по зале, и дикая музыка оркестра казалась отголоском их шагов. Время от времени раздаётся бой часов в бархатной зале, и на мгновение всё стихает, и воцаряется безмолвие. Призраки застывают в оцепенении. Но замирают отголоски последнего удара — и лёгкий смех напутствует их; и снова гремит музыка, привидения оживают и реют туда и сюда, озарённые пламенем костров, льющих потоки света сквозь разноцветные стёкла. Но в самую западную из семи зал никто из ряженых не смеет войти, потому что ночь надвигается, и багровый свет льётся сквозь кроваво-красные окна на зловещие траурные стены, и глухой голос часов слишком торжественно отдаётся в ушах того, кто ступает по чёрному ковру.

Зато в остальных залах кипела жизнь. Праздник был в полном разгаре, когда часы начали бить полночь. Опять, как и раньше, музыка смолкла, танцоры остановились, и наступила тишина зловещая. Теперь часы били двенадцать, и, может быть, потому, что бой продолжался дольше, чем прежде, — сильнее задумались наиболее

серьёзные из присутствовавших. Быть может, по той же причине, прежде чем замер в безмолвии последний отголосок последнего удара, многие в толпе успели заметить присутствие маски, которая раньше не привлекала ничьего внимания. Слух о появлении нового лица быстро распространился, сначала шёпотом; потом послышался гул и ропот удивления, негодования — наконец, страха, ужаса и отвращения.

В таком фантастическом сборище появление обыкновенной маски не могло бы возбудить удивления. В эту ночь маскарадная свобода была почти не ограничена; но вновь появившаяся маска переступала границы того снисходительного приличия, которые признавал даже принц. В сердце самых беспечных таятся струны, до которых нельзя дотрагиваться. Самые отчаянные головы, для которых нет ничего святого, не решатся шутить над иными вещами. По-видимому, всё общество почувствовало, что наряд и поведение незнакомца неостроумны и неуместны. Это была высокая тощая фигура, с ног до головы одетая в саван. Маска, скрывавшая лицо, до того походила на окоченевшее лицо трупа, что самый пристальный взор затруднился бы обнаружить подделку. Всё бы это ничего; обезумевшее от

разгула общество, быть может, одобрило бы даже такую выходку. Но ряженый зашёл дальше, олицетворив образ «красной смерти». Одежда его была испачкана кровью, на широком лбу и по всему лицу выступали ужасные багровые пятна.


ЭТО БЫЛА ВЫСОКАЯ ТОЩАЯ ФИГУРА, С НОГ ДО ГОЛОВЫ ОДЕТАЯ В САВАН. МАСКА, СКРЫВАВШАЯ ЛИЦО, ДО ТОГО ПОХОДИЛА НА ОКОЧЕНЕВШЕЕ ЛИЦО ТРУПА, ЧТО САМЫЙ ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗОР ЗАТРУДНИЛСЯ БЫ ОБНАРУЖИТЬ ПОДДЕЛКУ.
HARRY CLARKE

Когда принц Просперо увидел привидение, которое прогуливалось взад и вперёд среди танцующих медленным и торжественным шагом, точно желая лучше выдержать роль свою, — он содрогнулся от ужаса и отвращения, но тотчас затем лицо его побагровело от гнева.

— Кто смеет, — спросил он хриплым голосом у окружающих, — кто смеет оскорблять нас такой богохульной насмешкой? Схватите его и сорвите маску, чтобы мы знали, кого повесить на восходе солнца на стене замка.

В эту минуту принц Просперо находился в восточной или голубой зале. Слова громко и звучно отдались по всем семи залам, потому что принц был высокий и сильный мужчина, а музыка умолкла по мановению руки его.

Принц Просперо стоял в голубой зале, окружённый толпой побледневших придворных. Слова его вызвали лёгкое движение, казалось, толпа хотела броситься на неизвестного, который в эту минуту находился в двух шагах от неё и спокойными твёрдыми шагами приближался к принцу. Но под влиянием неизъяснимой робости, внушённой безумным поведением ряженого, никто не осмелился наложить на него руку, так что он свободно прошёл мимо принца и тем же мерным

торжественным шагом продолжал свой путь среди расступавшейся толпы из голубой залы в пурпурную, из пурпурной в зелёную, из зелёной в оранжевую, потом в белую, наконец, в фиолетовую. До сих пор никто не решился остановить его, но тут принц Просперо, обезумев от бешенства и стыдясь своей минутной трусости, бросился за ним через все шесть зал, один, потому что все остальные были окованы смертельным ужасом. Он потрясал обнажённой шпагой и находился уже в трёх или четырёх шагах от незнакомца, когда тот, достигнув конца фиолетовой залы, внезапно обернулся и встретил лицом к лицу своего врага. Раздался пронзительный крик, и шпага, блеснув в воздухе, упала на траурный ковёр, на котором мгновение спустя лежал бездыханный принц Просперо. Тогда, с диким мужеством отчаяния, толпа гуляк ринулась в чёрную залу, и схватив незнакомца, высокая фигура которого стояла прямо и неподвижно в тени огромных часов, — замерла от невыразимого ужаса, не найдя под могильной одеждой и маской трупа никакой осязаемой формы.

Тогда-то для всех стало очевидно присутствие «красной смерти». Она подкралась, как вор, ночью; и гуляки падали один за другим в залитых

кровью палатах, где кипела их оргия; и жизнь эбеновых часов иссякла с жизнью последнего из весёлых собутыльников; и тьма, разрушение и «красная смерть» воцарились здесь невозбранно и безгранично.


РАЗДАЛСЯ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ КРИК,
И ШПАГА, БЛЕСНУВ В ВОЗДУХЕ, УПАЛА
НА ТРАУРНЫЙ КОВЁР, НА КОТОРОМ
МГНОВЕНИЕ СПУСТЯ ЛЕЖАЛ
БЕЗДЫХАННЫЙ ПРИНЦ ПРОСПЕРО.

Колодец и маятник

Impia tortorum longas hic turba furors
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent[63].

Четверостишие, составленное для надписи на воротах рынка, который предполагалось соорудить на месте Якобинского клуба в Париже

Я был болен, болен смертельно, благодаря этим долгим невыносимым мукам, и когда, наконец, они сняли с меня оковы и позволили мне сидеть, я почувствовал, что лишаюсь сознания. Приговор, страшный смертный приговор — это были последние слова, которые с полной отчётливостью достигли до моего слуха. Потом звуки инквизиторских голосов как бы слились в один неопределённый гул, раздававшийся, точно во сне. Он пробудил в моей душе представление

---

[63] Примечания: 63

Нечестивая толпа мучителей, неудовлетворённая, утоляла здесь долговременную жажду невинной крови. Ныне же при благоденствии отечества, ныне по разрушении пещеры погребения жизнь и спасение отверсты там, где была зловещая смерть *(лат.)*.

о круговращении, быть может, потому в воображении моём он сочетался с глухим рокотом мельничного колеса.

Это ощущение продолжалось лишь несколько мгновений, и вот я больше не слыхал ничего. Но зато я видел, и с какой страшной преувеличенностью! Я видел губы судей, облачённых в чёрные одеяния. Эти губы показались мне белыми — белее чем лист бумаги, на котором я сейчас пишу, — и тонкими, тонкими до забавности, в них было напряжённое выражение суровости, непреклонной решительности и мрачного презрения к человеческим пыткам. Я видел, что приговор, который был для меня роковым, ещё исходил из этих губ. Я видел, как они искажались, произнося смертельные слова. И видел, как они изменялись, выговаривая по слогам моё имя, и меня охватил трепет, потому что звука не было слышно.

Опьянённый ужасом, я видел, кроме того, в течение нескольких мгновений, лёгкие, едва заметные колебания чёрной обивки, окутывавшей стены зала, и потом мой взгляд был привлечён семью высокими свечами, стоявшими на столе. Сперва они казались мне милосердными, они представились мне белыми стройными ан-

гелами, которые должны были принести мне спасение: но тотчас же моей душой овладевало чувство смертельного отвращения, и я затрепетал всеми фибрами моего существа, как бы прикоснувшись к проволоке гальванической батареи[64], и ангелы сделались бессмысленными призраками с головами из пламени, и я увидел, что от них мне нечего ждать. И тогда в моё воображение подобно богатой музыкальной ноте прокралась мысль о том, как должно быть сладко отдохнуть в могиле. Эта мысль овладела мною незаметно, и, по-видимому, прошло много времени, прежде чем я вполне оценил её, но именно тогда, когда дух мой наконец начал должным образом ощущать и лелеять её, лица судей как по волшебству исчезли передо мной; высокие свечи превратились в ничто; их пламя погасло совершенно; нахлынула чёрная тьма; все ощущения, как показалось мне, поглощались быстрым бешеным нисхождением, точно душа опускалась в ад. Затем молчание, тишина, и ночи стали моей вселенной.

---

[64] Примечания: 64

Гальван*и*ческая батар*е*я — химический источник электрического тока, названный в честь Луиджи Гальвани (1737–1798).


ПРИГОВОР,
СТРАШНЫЙ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР —
ЭТО БЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА,
КОТОРЫЕ С ПОЛНОЙ ОТЧЁТЛИВОСТЬЮ
ДОСТИГЛИ ДО МОЕГО СЛУХА.

Я лишился чувств; однако же я не могу сказать, чтобы всякая сознательность была утрачена. Что именно осталось, я не буду пытаться определить, не решусь даже описывать; но не всё было утрачено. В самом глубоком сне не всё утрачивается! В состоянии бреда — не всё! В обмороке — не всё! В смерти — не всё! Даже в могиле не всё утрачивается! Иначе нет бессмертия для человека. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы порываем тонкую, как паутина, ткань какого-то сна. И секунду спустя (настолько, быть может, воздушна была эта ткань) мы уже не помним того, что нам снилось. Когда мы возвращаемся к жизни после обморока, в наших ощущениях есть две степени: во-первых, ощущение умственного или духовного существования; во-вторых, ощущение существования телесного. Весьма вероятно, что, если бы, достигнув второй степени, мы могли вызвать в нашей памяти впечатления первой, мы нашли бы эти впечатления красноречиво переполненными воспоминаниями о бездне, находящейся по ту сторону нашего бытия. И эта бездна — что она такое? Каким образом, в конце концов, можем мы отличить её тени от теней могильных? Но если впечатления того, что я назвал первой степенью, не могут быть воссозданы

в памяти произвольно, не приходят ли они к нам после долгого промежутка сами собою, между тем как мы удивляемся, откуда они пришли? Кто никогда не лишался чувств, тот не принадлежит к числу людей, которые видят в пылающих углях странные чертоги и безумно знакомые лица; он не видит, как в воздухе витают печальные видения, которые зримы лишь немногим; он не будет размышлять подолгу об аромате какого-нибудь нового цветка; его ум не будет заворожён особенным значением какого-нибудь музыкального ритма, который раньше никогда не привлекал его внимания.

Среди неоднократных и тщательных попыток вспомнить о том, что было, среди упорных стараний уловить какой-нибудь луч, который озарил бы кажущееся небытие, охватившее мою душу, были мгновенья, когда мне казалось, что попытки мои увенчаются успехом; были краткие, очень краткие, промежутки, когда силой заклинания я вызывал в своей душе воспоминанья, и рассудок мой, бывший трезвым в этот второй период, мог отнести их только к периоду кажущейся бессознательности. Эти неясные тени, выросшие в моей памяти, заставляют меня смутно припомнить о высоких фигурах, которые подняли меня

и молчаливо понесли вниз — всё ниже — всё ниже, — пока наконец мною не овладело отвратительное головокружение, при одной только мысли о бесконечном нисхождении. Эти неясные тени говорят также о смутном ужасе, охватившем моё сердце, благодаря тому, что это сердце было так неестественно спокойно. Затем следует чувство внезапной неподвижности, оцепеневшей всё кругом, как будто бы те призраки, которые несли меня (чудовищный кортеж!), в своём нисхождении вышли за границы безграничного и стали, побеждённые трудностью своей задачи. Затем я припоминаю ощущение чего-то плоского и сырого; и после этого всё делается безумием — безумием памяти, бьющейся в запретном.

Совершенно внезапно в душу мою опять проникли ощущения звука и движения — это бешено билось моё сердце, и слух воспринимал звук его биения. Потом следует промежуток, впечатление которого совершенно стерлось. Потом опять звук, и движение, и прикосновение к чему-то, и ощущение трепета, захватывающее меня всецело. Потом сознание, что я жив, без всякой мысли — состояние, продолжавшееся долго. Потом совершенно внезапно мысль, и панический ужас, и самая настойчивая попытка понять, в каком положении

я нахожусь. Потом страстное желание ничего не ощущать. Потом быстрое возрождение души, и попытка, удавшаяся, сделать какое-нибудь движение. И вот у меня встает ясное воспоминание о допросе, о судьях, о чёрной стенной обивке, о приговоре, о недомогании, об обмороке. Затем полное забвение всего, что было дальше; об этом мне удалось вспомнить позднее, лишь смутно и с помощью самых упорных попыток.

До сих пор я не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, без оков. Я протянул свою руку, и она тяжело упала на что-то сырое и твёрдое. В таком положении я держал её несколько долгих минут, стараясь в то же время понять, где я и что же со мною произошло. Мне очень хотелось открыть глаза, но я не смел. Я боялся первого взгляда на окружающие предметы.

Не то меня пугало, что я могу увидеть что-нибудь страшное, меня ужасала мысль, что я могу не увидать ничего. Наконец, с безумным отчаянием в сердце, я быстро открыл глаза. Увы! Мои худшие мысли оправдались. Вечная ночь окутывала меня своим мраком. Я почувствовал, что задыхаюсь. Непроницаемость мрака, казалось, давила и удушала меня. Воздух был невыносимо тяжёл. Я всё ещё лежал неподвижно и старался

овладеть своим рассудком. Я припоминал приёмы, к которым всегда прибегала инквизиция[65], и, исходя отсюда, старался вывести заключение относительно моего настоящего положения. Приговор был произнесён, и мне представлялось, что с тех пор прошёл очень большой промежуток времени. Однако ни на одно мгновение у меня не появилось мысли, что я действительно мёртв. Подобная догадка, несмотря на то что мы читаем об этом в романах, совершенно несовместима с реальным существованием; но где я был и что было со мной? Приговорённые к смерти, как я знал, погибали обыкновенно на auto-da-fé[66], и один из осуждённых был сожжён как раз в ту ночь, когда мне был объявлен приговор. Не был ли я снова брошен в тюрьму для того, чтобы дождаться следующей казни, которая должна была последовать не ранее как через несколько месяцев? Я видел ясно, что этого не могло быть. Жертвы претерпевали немедленную кару. Кроме

---

[65] Примечания: 65

Инквизиция — в католической церкви в XIII–XIX вв. особые церковные суды по делам о еретиках.

[66] Примечания: 66

Auto-da-fé — аутодафе *(исп.)*. В буквальном переводе — «акт веры». Оглашение и приведение приговора инквизиции в исполнение: обычно публичное сожжение еретиков и еретических книг на кострах в Средние века.

того, в моей тюрьме, как и везде в Толедо в камерах для осуждённых, был каменный пол, и в свете не было совершенно отказано.

Страшная мысль внезапно охватила меня, кровь отхлынула к сердцу, и на некоторое время я опять погрузился в бесчувственность. Придя в себя, я тотчас же вскочил на ноги, судорожно трепеща всем телом. Как сумасшедший, я стал махать руками над собой и вокруг себя по всем направлениям. Я не ощущал ничего; но меня ужасала мысль сделать хотя бы шаг, я боялся встретить стены гробницы. Я весь покрылся потом, он висел у меня на лбу крупными холодными каплями. Наконец пытка неизвестности сделалась невыносимой, и я сделал осторожное движение вперёд, широко раскрыв руки и с напряжением выкатывая глаза, в надежде уловить хотя бы слабый проблеск света. Я сделал несколько шагов, но кругом была только пустота и тьма. Я вздохнул свободнее. По-видимому, было несомненно, что меня, по крайней мере, не ожидала участь самая ужасная.

И в то время как я продолжал осторожно ступать вперёд, на меня нахлынули беспорядочной толпой воспоминания, множество смутных рассказов об ужасах, совершающихся в Толедо. О

здешних темницах рассказывались необыкновенные вещи — я всегда считал их выдумками, — вещи настолько странные и страшные, что их можно повторять только шёпотом. Было ли мне суждено погибнуть от голода в этом чёрном подземелье или, быть может, меня ожидала участь ещё более страшная? Я слишком хорошо знал характер моих судей, чтобы сомневаться, что в результате должна была явиться смерть, и смерть — как нечто изысканное по своей жестокости. Единственно, что меня занимало или мучило, — это мысль, в какой форме придёт смерть и когда.

Мои протянутые руки наткнулись, наконец, на какое-то твёрдое препятствие. Это была стена, по-видимому, каменная, — очень гладкая, скользкая и холодная. Я пошёл вдоль её, ступая с крайней осторожностью, внушённой мне старинными рассказами. Однако этот приём не доставил мне никакой возможности исследовать размеры моей тюрьмы; я мог обойти стену и вернуться к месту, откуда я пошёл, не замечая этого, настолько однообразна была эта стена. Тогда я потянулся за ножом, который был у меня в кармане, когда я был введён в инквизиционный зал, но он исчез. Платье было переменено на халат из грубой саржи. У меня была мысль воткнуть лезвие

в какую-нибудь небольшую трещину и таким образом прочно установить исходную точку. Трудность, однако, была самая пустячная, хотя при расстройстве моей умственной деятельности она показалась мне сначала непреоборимой. Я оторвал от халата часть обшивки и положил этот кусок во всю длину к стене, под прямым углом. Идя на ощупь и обходя тюрьму кругом, я не мог не дойти до этого обрывка, совершив полный круг. Так, по крайней мере, я рассчитывал, но я не принял во внимание ни возможных размеров тюрьмы, ни собственной слабости. Почва была сырая и скользкая. Неверными шагами я шёл некоторое время вперёд, потом споткнулся и упал. Крайнее утомление побудило меня остаться в этом распростёртом положении, и вскоре мною овладел сон.

Проснувшись и протянув свою руку вперёд, я нашёл около себя хлеб и кружку с водой. Я был слишком истощён, чтобы размышлять, и с жадностью принялся пить и есть. Вскоре после этого я опять принялся огибать тюрьму и с большими трудностями пришёл, наконец, к куску саржи. До того мгновения, как я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а после того, как продолжил своё исследование, мне пришлось сделать ещё сорок

восемь шагов, прежде чем я дошёл до обрывка. В общем, значит, получилось сто шагов, и, допуская, что два шага составляют ярд, я предположил, что тюрьма простирается на пятьдесят ярдов в своей окружности. Я натолкнулся, однако, на множество углов и, таким образом, не мог узнать, какую форму имеет свод, мне показалось только, что это именно свод.

Мне, конечно, мало было пользы делать подобные изыскания: никакой надежды, разумеется, не могло быть с этим связано, но смутное любопытство побуждало меня продолжать их. Оставив стену, я решился пересечь площадь тюрьмы. Сперва я ступал с крайними предосторожностями, потому что, хотя пол и был сделан, по-видимому, из солидного материала, тем не менее он отличался предательской скользкостью. Потом, однако, я стал смелее и уже ступал твёрдо, без колебаний, пытаясь пересечь тюрьму по прямой линии, насколько это было для меня возможно. Я сделал таким образом шагов десять-двенадцать, как вдруг оставшаяся часть полуоборванной обшивки халата запуталась у меня между ног. Я наступил на неё и упал прямо лицом вниз.

В замешательстве падения я не мог сразу за-

метить одного поразительного обстоятельства, которое тем не менее не замедлило привлечь моё внимание через несколько секунд, пока я ещё продолжал лежать распростёртый во всю длину. Дело в том, что мой подбородок находился на полу тюрьмы, но губы и верхняя часть головы не прикасались ни к чему, хотя, по-видимому, они были на более низком уровне, чем подбородок. В то же самое время мой лоб, казалось, был окутан каким-то клейким испарением, и своеобразный запах гниющих грибков поразил моё обоняние. Я протянул перед собою руку и содрогнулся, увидя, что упал на самом краю круглого колодца, размеров которого я, конечно, не мог определить в ту минуту. Ощупывая каменную кладку над самым краем, я смог оторвать небольшой обломок и бросил его в пропасть. В течение нескольких секунд я вслушивался в звуки камня, ударившегося о стену пропасти в своём нисхождении; наконец, он мрачно булькнул в воду, и этот звук был повторён громким эхом. В тот же самый момент послышался другой звук, точно надо мной мгновенно открылась и закрылась дверь, между тем как слабый отблеск света быстро скользнул во тьме и так же быстро исчез.

Я ясно увидел, какая участь была приготовлена

для меня, и поздравил себя со счастливой случайностью, благодаря которой избежал её. Ещё шаг, и меня не было бы в живых; и эта смерть отличалась именно таким характером, что я считал пустой выдумкой, когда о ней говорилось в рассказах, касавшихся инквизиции. Для жертв её тирании была избираема смерть или с самыми жестокими физическими муками, или с самыми отвратительными нравственными ужасами. Мне было предназначено последнее. Благодаря долгим страданиям нервы мои были напряжены до такой степени, что я содрогался при звуках собственного голоса и сделался субъектом, во всех смыслах подходящим для ожидавших меня пыток.

Трепеща всем телом, я на ощупь пошёл назад к стене — решаясь скорее умереть там, нежели подвергаться опасности познакомиться с ужасами колодцев, целое множество которых моя фантазия нарисовала мне вокруг меня в разных местах тюрьмы. При другом состоянии рассудка я имел бы мужество окончить свои беды сразу, бросившись в одну из пучин: но тогда я был самым жалким из трусов. Я не мог также забыть того, что читал об этих колодцах — именно, что внезапная смерть не составляла задачи их чудо-

вищного устройства.

Душевное возбуждение продержало меня в состоянии бодрствования в течение долгих часов; но наконец я опять заснул. Проснувшись, я нашёл около себя, как прежде, хлеб и кружку с водой. Меня мучила страшная жажда, и я выпил всю воду сразу. Она, должно быть, была смешана с каким-нибудь составом, потому что едва я её выпил, как мною овладела непобедимая сонливость. Я погрузился в глубокий сон — в сон, подобный смерти. Как долго он продолжался, я не могу, конечно, сказать; но, когда я опять раскрыл глаза, окружающие предметы были видимы. Благодаря странному сернистому сиянию, происхождение которого я сперва не мог определить, я мог видеть размеры и внешние очертания тюрьмы. Я сильно ошибся касательно её величины; вся окружность стен не превосходила двадцати пяти ярдов. Это обстоятельство на несколько минут наполнило меня целым множеством напрасных тревог; поистине напрасных — ибо при страшных обстоятельствах, под властью которых я находился, могло ли быть что-нибудь менее важное, нежели размеры моей тюрьмы? Но душа моя странным образом услаждалась пустяками, и я ревностно пытался объяснить себе свою ошибку.

Наконец, истина внезапно открылась мне. Когда я в первый раз предпринял свои исследования, я насчитал пятьдесят два шага до того времени, как упал; я должен был тогда находиться шага за два от куска саржи; в действительности я уже почти обошёл весь свод. Потом я уснул и, проснувшись, пошёл назад по пройденному пути, таким образом решил, что окружность тюрьмы была вдвое более против своих действительных размеров. Смутное состояние моего рассудка помешало мне заметить, что, когда я начал своё исследование, стена была у меня слева, а когда кончил, она была справа.

Я обманулся также и относительно формы тюрьмы. Ощупывая дорогу, я нашёл много углов и отсюда вывел представление о большой неправильности. Так велика власть полной темноты, когда она оказывает своё действие на человека, пробуждающегося от летаргии или от сна! Углы представляли из себя не что иное, как некоторые небольшие понижения уровня или ниши, находившиеся на неровных промежутках друг от друга. Общая форма тюрьмы представляла из себя четырёхугольник. То, что я счёл каменной кладкой, оказалось железом, или каким-нибудь другим металлом, это были огромные пласты,

сшивки которых, или смычки, обусловливали понижение уровня. Вся поверхность этой металлической загородки была осквернена отвратительными гнусными эмблемами, изобретениями замогильных монашеских суеверий. Фигуры угрожающих демонов в форме скелетов и другие образы, более реальные в своём ужасе, были всюду разбросаны по стенам, стены были изуродованы ими. Я заметил, что очертания этих искажённых призраков были довольно явственны, но что краски как будто были запятнаны действием сырой атмосферы. Я мог, кроме того, рассмотреть теперь и пол, он был из камня. В самом центре зиял круглый колодец, от пасти которого я ускользнул; но во всей тюрьме он был единственным.

Всё это я видел неясно и с большими усилиями, потому что моё внешнее положение сильно изменилось за время сна. Я лежал теперь на спине во всю длину на каком-то деревянном срубе. Самым тщательным образом я был привязан к нему ремнём, похожим на священнический пояс. Проходя кругом, он облекал мои члены и всё тело, оставляя на свободе только голову, а также левую руку, настолько, что я при помощи долгих усилий мог доставать пищу с глиняного блюда,

стоявшего около меня на полу. К своему ужасу, я увидел, что кружка была отодвинута в сторону. Я говорю — к своему ужасу, потому что меня терзала невыносимая жажда. Одним из намерений моих мучителей было, очевидно, усилить эту жажду: пища, находившаяся на блюде, была сильно пересолена.

Устремив свои взоры кверху, я стал рассматривать потолок тюрьмы. Он простирался надо мною на высоте тридцати или сорока футов и был по строению похож на боковые стены. Всё моё внимание было приковано чрезвычайно странной фигурой, находившейся в одном из его панно. Это была фигура Времени, как она обыкновенно изображается, с той только разницей, что вместо косы она держала орудие, которое при беглом взгляде я счёл нарисованным изображением громадного маятника, вроде тех, какие мы видим на старинных часах. Было, однако, нечто во внешнем виде этого снаряда, что меня заставило взглянуть на него пристальнее. В то время как я смотрел на маятник, устремляя взгляд прямо над собою (ибо он находился, действительно, как раз надо мной), мне почудилось, что он движется. В следующее мгновение моё впечатление оправдалось. Он покачивался коротким размахом, и,

конечно, медленно. Я следил за ним в течение нескольких минут отчасти с чувством страха, но более с чувством удивления. Утомившись, наконец, я отвернулся и обратил свой взгляд на другие предметы, находившиеся в тюрьме.

Лёгкий шум привлёк моё внимание, и, посмотрев на пол, я увидал несколько огромных крыс. Они только что вышли из колодца, который был мне виден справа. В то самое время, как я смотрел на них, они поспешно выходили целой стаей и сверкали жадными глазами, привлечённые запахом говядины. Мне стоило больших усилий и большого внимания, чтобы отогнать их.

Прошло, вероятно, полчаса, а быть может, и час (я мог только приблизительно судить о времени), прежде чем я опять устремил свой взгляд вверх. То, что я увидел тогда, поразило и смутило меня. Размах маятника увеличился в протяжении приблизительно на ярд. Естественным следствием этого была также большая скорость его движения. Но что главным образом исполнило меня беспокойством, это мысль, что он заметно опускается. Я заметил теперь — нечего говорить, с каким ужасом, — что нижняя его конечность представляла из себя полумесяц из блестящей стали, приблизительно около фута в длину от

одного изогнутого острия до другого; изогнутые острия обращались вверх, а нижний край был, очевидно, остёр как бритва. Полумесяц представлялся также массивным и тяжёлым, причём он суживался, заостряясь вверх от выгнутого края и составляя вверху нечто солидное и широкое. Он был привешен на массивном бронзовом стержне и, рассекая воздух, издавал свистящий звук.

Я не мог больше сомневаться относительно участи, которую приготовила для меня изысканная жестокость монахов. Агентам инквизиции сделалось известным, что я увидел колодец — колодец, ужасы которого были умышленно приготовлены для такого смелого и мятежного еретика, — колодец, являющийся первообразом ада и фигурирующий в смутных легендах как Ultima Thule[67] всех инквизиционных кар. Падения в этот колодец я избежал благодаря простой случайности, и я знал, что делать из самих пыток ловушку и неожиданность было одной из важных задач при определении всех этих загадочных казней, совершавшихся в тюрьмах. Раз я сам

[67] Примечания: 67

Ultima Thule — Туле, Фуле *(греч. и лат. Thule)* — согласно сообщениям античных географов, обитаемый остров, вошёл в историю географических открытий и в художественную литературу под названием Ultima Thule, что стало обозначать крайний северный предел обитаемой земли.

избежал колодца, в дьявольский план совсем не входило сошвырнуть меня туда, ибо таким образом (в виду отсутствия выбора) меня ожидала иная смерть, более короткая! Более короткая! Я чуть не улыбнулся, несмотря на свои пытки, при мысли о таком применении этого слова.

К чему рассказывать о долгих — долгих часах ужаса, более чем смертельного, в продолжение которых я считал стремительные колебания стали! Дюйм за дюймом — линия за линией — она опускалась еле заметно — и мгновения казались мне веками — она опускалась всё ниже, всё ниже и ниже! Шли дни — быть может, прошло много дней, — прежде чем стальное остриё стало качаться надо мною настолько близко, что уже навевало на меня своё едкое дыхание. Резкий запах стали поразил моё обоняние. Я молился — я теснил небо мольбами: пусть бы она опускалась скорее. Мною овладело безумное бешенство, я старался изо всех сил приподняться, чтобы подставить грудь кривизне этой сабли. И потом я внезапно упал, совершенно спокойный, и лежал, и с улыбкой смотрел на смерть в одежде из блёсток, как ребёнок смотрит на какую-нибудь редкостную игрушку.

Последовал новый промежуток полного от-

сутствия чувствительности; он был недолог, потому что, когда я опять вернулся к жизни, в нисхождении маятника не было заметного изменения. Но, быть может, этот промежуток времени был и долог, ведь я знал, там были демоны, они выследили, что я лишился чувств, они могли задержать колебание маятника для продления услады. Кроме того, опомнившись, я почувствовал себя чрезвычайно слабым — о, невыразимо слабым и больным, как будто я страдал от долгого изнурения. Однако и среди пыток такой агонии человеческая природа требовала пищи. С тягостным усилием я протянул руку, насколько мне позволяли мои оковы, и захватил объедки, оставшиеся мне от крыс. Едва я положил один из кусков в рот, как в голове моей быстро мелькнула полуявственная мысль радости и надежды. Но на что мне было надеяться? Как я сказал, это была полуявственная мысль — у человека возникает много мыслей, которым не суждено никогда быть законченными. Я почувствовал что-то радостное, что-то связанное с надеждой; но я почувствовал также, что эта вспышка мысли, едва блеснув, угасла. Напрасно я старался восстановить её, закончить. Долгие страдания почти совсем уничтожили самые обыкновенные способности

рассудка. Я был слабоумным — я был идиотом.

Колебание маятника совершалось в плоскости, составлявшей прямой угол с моим вытянутым в длину телом. Я видел, что полумесяц должен был пересечь область моего сердца. Он должен был перетереть саржевый халат и снова вернуться и повторить свою операцию — и снова вернуться — и снова вернуться. Несмотря на страшно широкий размах (футов тридцать или больше) и свистящую силу нисхождения, которая могла бы рассечь даже эти железные стены, всё, что мог совершить качающийся маятник в течение нескольких минут, — это перетереть моё платье. И дойдя до этой мысли, я остановился. Дальше я не смел идти в своих размышлениях. Внимание моё упорно медлило — как будто, остановившись на данной мысли, я мог тем самым остановить нисхождение стали именно здесь. Я старался мысленно определить характер звука, который произведёт полумесяц, рассекая мой халат, — определить особенное напряжённое впечатление, которое будет произведено на мои нервы трением ткани. Я размышлял обо всех этих пустяках, пока они, наконец, не надоели мне.

Ниже — всё ниже сползал маятник. Я испытывал бешеное наслаждение, видя контраст между

медленностью его нисхождения и быстротой бокового движенья. Вправо — влево — во всю ширину — с криком отверженного духа! Он пробирается к моему сердцу крадущимися шагами тигра! Попеременно я хохотал и выл, по мере того как надо мной брала перевес то одна, то другая мысль.

Ниже — неукоснительно, безостановочно ниже! Он содрогался на расстоянии трёх дюймов от моей груди! Я метался с бешенством, с яростью, стараясь высвободить левую руку. Она была свободна только от кисти до локтя. Я мог протянуть её настолько, чтобы с большими усилиями дотянуться до блюда и положить кусок в рот; только это было мне даровано. Если бы я мог разорвать оковы выше локтя, я схватил бы маятник, чтобы задержать его. Я мог бы с таким же успехом попытаться задержать лавину!

Ниже — неудержимо — всё ниже и ниже! Я задыхался, я бился при каждом колебании. Я весь съёживался при каждом его взмахе. Глаза мои следили за вращением вверх и вниз, с жадностью самого бессмысленного отчаяния; когда маятник опускался вниз, они сами собою закрывались, как бы объятые судорогой, хотя смерть должна была бы принести мне облегчение, о, какое несказан-

ное! И между тем я трепетал каждым нервом при мысли о том, какого ничтожного приближения этого орудия будет достаточно, чтобы сверкающая сталь вонзилась в мою грудь. Это надежда заставляла мои нервы трепетать, понуждала моё тело съёживаться. Это была надежда — которая торжествует и в застенке — шепчется с приговорённым к смерти даже в тюрьмах инквизиции.

Я увидал, что десяти или двенадцати колебаний будет достаточно, чтобы сталь пришла в непосредственное соприкосновение с моим платьем, и как только я это заметил, мой ум внезапно был охвачен безутешным спокойствием отчаяния. В первый раз в течение многих часов, или, быть может, дней, я думал. Я понял теперь, что ремень или пояс, связывавший меня, был сплошным. Я был опутан не отдельными узами. Первый удар полумесяца, подобного бритве, должен был пройти поперёк какой-нибудь части ремня и разделить его настолько, что я мог с помощью левой руки распутать его и откинуть от тела. Но как в этом случае должна быть ужасна близость стали! Последствие самых лёгких усилий насколько смертоносно! И кроме того, допустимо ли, чтобы приспешники моих мучителей не предвидели такой возможности и не позаботились сами насчёт

её? Было ли это вероятно, чтобы ремень пересекал мою грудь в пределах колебания маятника? Боясь, что моя слабая и, по-видимому, последняя надежда окажется напрасной, я приподнял голову, настолько, чтобы отчётливым образом осмотреть свою грудь. Ремень плотно облегал мои члены и тело по всем направлениям, исключая предметов пути убийственного полумесяца.

Едва я откинул голову назад, на прежнее место, как в уме моём что-то вспыхнуло, шевельнулось что-то неопределённое; мне хотелось бы назвать это чувство половинным бесформенным обрывком той мысли об освобождении, на которую я прежде указывал и лишь половина которой промелькнула у меня в душе своими неясными очертаниями, когда я поднёс пищу к пылающим губам. Теперь вся мысль была налицо — слабая, едва теплящаяся, едва уловимая, но всё же цельная. Охваченный энергией отчаяния, я тотчас же приступил к её исполнению.

Вот уже несколько часов около низкого сруба, на котором я лежал, суетились крысы — не суетились, а буквально кишели. Дикие, дерзкие, жадные, они смотрели на меня блистающими красными глазами, как будто только ждали, когда я буду неподвижен, чтобы тотчас же сделать

меня своей добычей. «К какой пище, — подумал я, — привыкли они здесь, в колодце?»

Несмотря на все мои старания отогнать их, они пожрали на блюде почти всю пищу, и там остались только объедки. Рука моя привыкла покачиваться вокруг блюда, и в конце концов это однообразное машинальное движение перестало оказывать на них какое-нибудь действие. Прожорливые твари нередко вонзали свои острые зубы в мои пальцы. Оставшимися частицами маслянистого и пряного мяса я тщательно натёр ремень везде, где только мог до него дотянуться; потом, приподняв свою руку от пола, я задержал дыхание.

В первое мгновенье алчные животные были изумлены и устрашены переменой — испуганы прекращением движения. Они бешено ринулись прочь; многие спрятались в колодец. Но это продолжалось один миг. Я не напрасно рассчитывал на их прожорливость. Видя, что я был неподвижен, две-три крысы рискнули вскочить на сруб и начали обнюхивать ремень. Это было как бы сигналом для всей стаи. Крысы бешено бросились вперёд. Из колодца устремились новые толпы. Они цеплялись за сруб, они взбирались на него, они сотнями бегали по моему телу. Размеренное

движение маятника нимало их не тревожило. Избегая его ударов, они ревностно занялись уничтожением ремня. Они лезли одна на другую, они кишели на мне, собираясь всё новыми грудами. Они судорожно ползали по моему горлу; их холодные губы встречались с моими; я наполовину задохся под этой живой кучей; грудь моя наполнилась отвращением, которому на свете нет имени, и сердце похолодело от ощущения чего-то тяжёлого и скользкого. Но ещё минута, и я почувствовал, что сейчас всё кончится. Я совершенно явственно ощущал ослабление моих пут. Я знал, что уже в нескольких местах ремень был разъединён. Охваченный сверхчеловеческой энергией, я ещё лежал.

Не ошибся я в своих расчётах, не тщетно ждал. Наконец я почувствовал, что теперь я свободен. Ремень лохмотьями свешивался с моего тела. Но уже удар маятника теснил мою грудь. Он уже перетёр саржевый халат. Он уже разрезал холст внизу. Ещё дважды качнулся маятник вправо и влево, и чувство острой боли дёрнуло меня за каждый нерв. Но миг спасенья настал. Я махнул рукой, и мои спасители стремительно бросились прочь. Осторожно отодвигаясь вбок, медленно съёживаясь и оседая, я выскользнул из объятий

перевязи и из пределов губительного лезвия. Хоть на миг, наконец я был свободен.


Я НЕ НАПРАСНО РАССЧИТЫВАЛ НА ИХ ПРОЖОРЛИВОСТЬ. ВИДЯ, ЧТО Я БЫЛ НЕПОДВИЖЕН, ДВЕ-ТРИ КРЫСЫ РИСКНУЛИ ВСКОЧИТЬ НА СРУБ И НАЧАЛИ ОБНЮХИВАТЬ РЕМЕНЬ. ЭТО БЫЛО КАК БЫ СИГНАЛОМ ДЛЯ ВСЕЙ СТАИ. КРЫСЫ БЕШЕНО БРОСИЛИСЬ ВПЕРЁД.

Свободен! — и в когтях инквизиции! Едва я отошёл от моего деревянного ложа пытки и ужаса, едва я ступил на каменный пол тюрьмы, как движение дьявольского орудия прекратилось, и я увидал, что оно было втянуто вверх через потолок действием какой-то невидимой силы. Это наблюдение наполнило моё сердце отчаянием. Не было сомнения, что каждое моё движение выслеживали. Свободен! Я ускользнул от смерти, являвшейся в форме страшной пытки, чтобы испытать терзания каких-нибудь новых пыток, ещё более страшных, чем смерть. При этой мысли я судорожно выкатывал глаза и бессмысленно смотрел на железные стены, стоявшие непроницаемыми преградами. Что-то необыкновенное произошло в тюрьме — какая-то очевидная и странная перемена, которую я сначала не мог должным образом определить. В течение нескольких минут размышления, похожего на сон и исполненного трепета, я тщетно старался разобраться в бессвязных догадках. Тут я впервые понял, откуда происходил сернистый свет, освещавший тюрьму. Он проходил сквозь трещину, приблизительно в полдюйма ширины, простиравшуюся кругом всей тюрьмы и находившуюся в основании стен, которые, таким

образом, были совершенно отделены от пола. Я попытался, но конечно напрасно, посмотреть сквозь расщелину.

Когда я приподнялся, тайна перемены, происшедшей кругом, сразу предстала моим взорам. Я видел, что, хотя очертания фигур, находившихся на стенах, были в достаточной степени явственны, краски представлялись, однако же, поблекшими и неопределёнными. Эти краски начали теперь блистать самым поразительным резким светом, блеск с минуты на минуту всё усиливался и придавал стенным фантомам такой вид, который мог бы потрясти нервы и более крепкие, чем мои. Везде кругом, где раньше ничего не было видно, блистали теперь дьявольские глаза; они косились на меня с отвратительной, дикой напряжённостью, они светились мертвенным огнистым сиянием, и я напрасно старался принудить себя считать этот блеск нереальным.

Нереальным! Мне достаточно было втянуть в себя струю воздуха, чтобы моё обоняние ощутило пар, исходивший от раскалённого железа! Удушливый запах наполнил тюрьму! Блеск, всё более яркий, с каждым мигом укреплялся в глазах, взиравших на мои пытки! Багряный цвет всё более и более распространялся по этим видениям,

по этим разрисованным кровью ужасам. Я едва стоял на ногах! Я задыхался! Не оставалось ни малейших сомнений касательно намерений моих мучителей — о, безжалостные палачи! о, ненавистные изверги! Я отшатнулся от пылавшего металла, отступил к центру тюрьмы. Перед ужасом быть заживо сожжённым мысль о холодных водах колодца наполнила мою душу бальзамом. Я бросился к его губительному краю. Я устремил свой напряжённый взгляд вниз. Блеск, исходивший от раскалённого свода, освещал самые отдалённые уголки. Но один безумный миг — и душа моя отказалась понять значение того, что я видел. Наконец, это нечто вошло в мою душу — втеснилось, ворвалось в неё — огненными буквами запечатлелось в моём трепещущем уме. О, дайте слов, дайте слов, чтобы высказать всё это! — какой ужас! — о, любой ужас, только не этот! С криком я отстранился назад от края колодца — и, закрыв лицо руками, горько заплакал.

Жар быстро увеличивался, и я опять взглянул вверх, охваченный лихорадочной дрожью. Вторичная перемена произошла в тюрьме, и теперь эта перемена очевидно касалась её формы. Как и прежде, я сначала напрасно пытался определить, в чём состояла перемена, или понять,

откуда она происходила. Но я недолго оставался в неизвестности. Инквизиторская месть спешила, будучи раздражена моим вторичным спасением, и больше уже нельзя было шутить с Властителем Ужасов. Тюремная камера представляла из себя четырёхугольник. Я видел, что два железных угла этого четырёхугольника были теперь острыми — два, понятно, тупыми. Страшная перемена быстро увеличивалась, причём раздавался глухой, стонущий гул. В одно мгновение тюрьма приняла форму косоугольника. Но перемена не остановилась на этом — я не надеялся, что она на этом остановится, я даже не желал, чтобы она остановилась. Я обнял бы эти красные стены, я хотел бы прижать их к груди своей, как одежду вечного покоя. «Пусть смерть, — говорил я, — пусть приходит какая угодно смерть, только не смерть от утопления!» Безумец! как я мог не догадываться, что раскалённое железо именно и должно было загнать меня в колодец? Разве я мог противиться его раскалённости? Или, если бы это было так, разве я мог противиться его давлению? А косоугольник всё сплющивался и сплющивался, у меня не было больше времени для размышлений. Его центр и, конечно, его самая большая широта приходились как раз над

зияющей пучиной. Я отступал назад — но сходящиеся стены безостановочно гнали меня вперёд. Наконец, для моего обожжённого и корчившегося тела оставался не более как дюйм свободного пространства на тюремном полу. Я уже не боролся, и агония моей души проявлялась только в одном громком, долгом и последнем крике отчаяния. Я почувствовал, что колеблюсь на краю колодца, — я отвернул свои глаза в сторону.

Там, где-то в вышине, послышался гул спорящих людских голосов! Раздался громкий звук, точно возглас многих труб! Послышался резкий грохот, точно от тысячи громовых ударов! Огненные стены откинулись назад! Чья-то рука схватила мою руку, когда, теряя сознание, я падал в пучину. То была рука генерала Лассаля[68]. Французская армия вошла в Толедо. Инквизиция была в руках своих врагов.

---

[68] Примечания: 68

Лассаль, Антуан (1775–1809) — французский дивизионный генерал, кавалерист. Участник войн Французской буржуазной республики и империи, в том числе Пиренейской войны, во время которой был взят г. Толедо.

Падение дома Эшеров

Son coeur est un luth suspendu,
Sitot gu'on le touch, il resonne.

De Beranger

Его сердце – висящая лютня,
Лишь дотронуться – она зазвучит.

Беранже

Весь тот день — серый, тёмный, тихий осенний день — под низко нависшими свинцовыми тучами я ехал верхом по необычайно пустынной местности и, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на неё невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю «невыносимая», потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным чувством поэзии, которое вызывают в душе человеческой даже самые безнадёжные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, на одинокий дом, на мрачные стены, на зияющие впадины выбитых окон, на чахлую осоку, на седые стволы дряхлых деревьев с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика

опиума, с горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всём своём безобразии.

То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях, полное бессилие воображения настроить душу на более возвышенный лад. «Что же именно, — подумал я, — что именно так удручает меня в доме Эшеров? Я не мог разрешить этой тайны; не мог разобраться в тумане смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим заключением, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас таким образом, но исследовать это влияние — задача непосильная для нашего ума. «Возможно, — думал я, — что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит это впечатление гнетущее». Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над чёрным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась под самой усадьбой, и содрогнулся ещё сильнее, увидав в повторённом и обратном изображении чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые впадины окон.

Тем не менее я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства; но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, очень странное; настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер говорил о жестоких физических страданиях, об угнетавшем его душевном расстройстве и хотел непременно видеть меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность — заставили меня принять приглашение без всяких колебаний, хотя оно казалось мне всё-таки странным.

Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал о моём друге очень мало. Он всегда был сдержан. Мне было известно, однако, что он принадлежал к очень древней фамилии, представители которой с незапамятных времён отличались особенной чувствительностью характера, выражавшейся в течение многих веков в различных произведениях искусства, всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее — в щедрой, но отнюдь не навязчивой благо-

творительности и страстной любви к музыке, скорее — к её трудностям, чем к признанным и легко доступным красотам. Мне известен также замечательный факт, что эта фамилия, при всей своей древности, не породила ни одной боковой ветви, сколько-нибудь живучей; иными словами, — что все члены рода, за весьма немногими и кратковременными уклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я раздумывал о замечательном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединили эти последние, что первоначальное название усадьбы заменилось странным и двусмысленным прозвищем «Дома Эшеров», под которым местное население подразумевало как самих владельцев, так и их родовую собственность.

Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка изменить настроение, заглянув в пруд, только усилила тяжесть первого впечатления. Не сомневаюсь, что сознание своего суеверия — почему мне не употребить этого слова? — усиливало его

действие. Таков — я давно убедился в этом — противоречивый закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса.

Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, явившаяся у меня, когда я перевёл взгляд от отражения в пруде к самой усадьбе, — фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не показывала силу осаждавших меня впечатлений. Мне показалось, будто дом и вся усадьба окутаны совершенно особенным, им только присущим воздухом, совсем не похожим на окружающий вольный воздух, — воздухом, исходящим от гнилых деревьев, ветхой стены, молчаливого пруда: тяжким, сонным, заражённым и таинственным.

Стряхнув с души впечатление, которое должно было быть бредом, я стал рассматривать дом. Главная особенная черта его была глубокая древность. Века наложили на него неизгладимую печать. Лишаи покрывали его почти сплошь, свешиваясь тонкими косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась, но тем более поражало несоответствие общей сохранившейся во всех частях постройки с обветшалым видом отдельных камней. Такой

вид имеет иногда старинная деревянная работа, изъеденная годами, в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает внешний воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, не было заметно ничего, грозящего разрушением. Разве, быть может, внимательный наблюдатель заметил бы лёгкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на переднем фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая в мутных водах пруда.

Заметив всё это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошёл через готический подъезд в приёмную. Отсюда лакей неслышными шагами провёл меня по тёмным и извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я говорил выше. Хотя окружающие предметы — резьба на потолках, тёмные обои на стенах, полы, окрашенные в чёрную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, — были мне знакомы с детства, — хотя я сразу узнал всё это, но странно: эти знакомые предметы возбуждали во мне ощущения, совершенно незнакомые. На одной из лестниц я встретил домашнего доктора Эшеров. Лицо его, как мне показалось,

выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он торопливо поздоровался со мной и прошёл мимо. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моём приходе.

Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна помещались на такой высоте от чёрного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решётчатые окна, так что большие предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдалённые углы комнаты и сводчатого расписного потолка. Тёмные завесы свешивались по стенам. Мебель была старинная, неудобная и ветхая. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Воздух напоён был тоской. Унылая, бесконечная, безнадёжная, висела она над всем и пронизывала всё.

Когда я вошёл, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной. Но взглянув на него, я убедился в её искренности. Мы сели; с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда ещё человек не изменялся так страшно в такой

короткий срок, как Родерик Эшер! Я едва мог признать в этом измождённом существе друга моих детских игр. А между тем наружность его была замечательна. Мертвенно-бледный цвет кожи, огромные светлые с невыразимым влажным блеском глаза; тонкие, бледные, но удивительно красиво очерченные губы; изящный еврейский нос, однако, с чересчур широкими ноздрями; красиво очерченный подбородок, очень мало выдающийся (признак душевной слабости); волосы мягкие, тонкие-тонкие, паутинные, лоб, необычайно широкий в висках, — такую наружность трудно забыть. Особенные черты лица его и свойственное им выражение теперь выступили ещё резче, — но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я сомневался, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность лица его и волшебный блеск его глаз. Паутина волос, очевидно, давно уже не знавшая ножниц, обрамляя лицо почти воздушными прядями, тоже придавала ему какой-то нездешний вид.

В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то неровность, невыдержанность, следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но слабой и тщетной борьбы с

крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь подобного не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых особенностях его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал об его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно исчезали) сменялась звуком стремительной уверенности, отрывистым, резким, не терпящим возражений, грубоватым звуком, тем веским, мерным, горловым говором, какой бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.

Так говорил он о цели моего посещения, о своём горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешёл к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный семейный недуг, против которого, кажется, нет лекарства… чисто нервное расстройство, — прибавил он поспешно, — которое, вероятно, пройдёт само собою. Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, при этом

действовали звуки голоса и слова рассказа. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, принимал только самую безвкусную пищу, носил только известные ткани, не терпел запаха цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и только немногие звуки, исключительно струнных инструментов, не внушали ему ужаса.

Оказалось также, что он подвержен беспричинному неестественному страху.

— Я погибну, — говорил он, — я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я страшусь будущих событий, не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, потому что они могут повлиять на это возбуждение невыносимое. Боюсь не столько самой опасности, сколько её неизбежного следствия — ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком — страхом!

Я подметил также в его неясных и двусмысленных намёках другую любопытную черту болезненного душевного состояния. Его преследовали суеверные представления о жилище, в котором он прожил безвыездно столько лет,

мысль о каком-то влиянии, сущность которого трудно было понять из его неясных слов.

Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы мало-помалу, в течение долгих лет, приобрели странную власть над его душою; вещи чисто физические — серые стены и башенки, тёмный пруд, в котором они отражались, влияли на духовную сторону его существования.

Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, может быть следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжёлой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, его друга и товарища в течение многих лет, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире. «После смерти её, — заметил он с горечью, которая произвела на меня впечатление неизгладимое, — я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшер». Когда он говорил это, леди Магдалина (так звали сестру его), медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я смотрел на неё с удивлением, к которому примешивалось чувство страха. Почему? Я сам не могу объяснить. Что-то давило меня, пока я сле-

дил за ней глазами. Когда она исчезла за дверью, я невольно, украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые блестели слёзы.

Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хотя кратковременные явления каталептического[69] характера — таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним, ни за что не хотела лечь в постель; но вечером, после моего приезда, слегла (её брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью), — так что я, по всей вероятности, видел её в последний раз.

В течение нескольких дней имя её не упоминалось ни Эшером, ни мною. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали и читали, или я слушал, как во сне, его дикие импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась для меня безнадёжность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, бросавший мрачную тень на все

---

[69] Примечания: 69

Каталепсия — двигательное расстройство, застывание человека в принятой им или приданной ему позе.

явления духовного и вещественного мира.

Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведённые мною наедине с хозяином дома Эшеров. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о наших занятиях. Необузданный идеализм Эшера озарял все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные импровизации врезались мне в душу. Помню, между прочим, болезненную, странную вариацию на дикий мотив последнего вальса Вебера. Живопись, создаваемая его изысканным воображением, в которой с каждой чертой выступало что-то смутное, заставлявшее меня вздрагивать тем сильнее, что я не понимал причины подобного впечатления, — эти картины (хотя я точно вижу их перед собою) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнажённостью рисунка. Если когда-нибудь человек живописал мысль, то этот человек был Родерик Эшер. На меня, по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, чистые

отвлечённости, которые этот ипохондрик[70] набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определённые фантазии Фюзели[71].

Одно из сказочных созданий моего друга, не такое отвлечённое, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нём лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного прямоугольного свода или подземного хода, с низкими стенами, гладкими, белыми, без всяких перерывов или выступов. Некоторые подробности рисунка ясно показывали, что ход был на огромной глубине под землёю. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода; не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, а между тем поток ярких лучей затоплял всё зловещим неестественным светом.

Я уже упоминал о болезненном состоянии

---

[70] Примечания: 70

Ипохондрия — чрезмерное внимание к своему здоровью, необоснованная тревога за него, страх заболевания неизлечимой болезнью и др. Проявляется в диапазоне от некоторой мнительности до бредовой убеждённости в наличии болезни.

[71] Примечания: 71

Фюзели (также Фюссли), Иоганн Генрих (1741–1825) — английский и швейцарский художник, автор серии картин на тему ночных кошмаров.

слухового нерва, благодаря которому мой друг не выносил никакой музыки, кроме некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость суживать себя тесными пределами гитары в значительной мере обусловливала фантастическое свойство его импровизаций. Но лёгкость его impromptus[72] не объясняется этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, следствием самоуглубления и сосредоточенности, которые, как я уже говорил, замечаются в известные минуты чрезвычайного искусственного возбуждения.

Я запомнил слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал её таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознаёт, что его возвышенный ум колеблется на своём престоле. Передаю эту песнь, если не вполне, то почти точно:

I

В зелёной долине, жилище светлых ангелов, возвышался когда-то прекрас-

---

[72] Примечания: 72
Экспромт *(лат.)*.

ный, гордый, лучезарный замок. Там стоял он во владениях властелина Мысли! Никогда серафим не простирал своих крыльев над столь прекрасным зданием.

II

Пышные златотканые знамёна развевались на кровле его (всё это было – всё это было в старые, давно минувшие годы); ветерок, порхая по стенам дворца, уносился, напоённый благоуханием.

III

Путник, проходя счастливой долиной, видел в ярко освещённые окна, как духи плавно двигались под мерные звуки лютни вокруг престола, на котором восседал в блеске славы своей порфирородный властитель.

IV

Жемчугами и рубинами горели пышные двери, из них вылетали, кружась и сверкая, толпы Эхо, воспевавшие голосами невыразимо сладостными мудрость своего повелителя.

V

Но злые призраки в чёрных одеждах осадили дворец великого царя (ах, пожалеем о нём: солнце уже никогда не взойдёт для него, безнадёжного!), и ныне царственная слава дома его – только сказание древности полузабытое.

VI

И ныне путник, проходя по долине, видит сквозь озарённые багровым светом окна, как безобразные призраки теснятся под звуки нестройной мелодии, а из бледных дверей, подобно зловещему потоку, вылетают толпы отвратительных чудовищ и смеются, но никогда не улыбаются.

Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны (многие высказывали то же самое), а потому, что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью. Но его воображение придало этой идее ещё более смелый характер, перенеся её до некоторой степени в царство неорганическое.

Не знаю, какими словами выразить степень или размах его убеждения. Оно имело связь (как я уже намекал) с серыми камнями дома его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней — в порядке их сочетания, в изобильных мхах, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг, — а главное в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные, и удваивались в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, прибавил он, может служить особенный воздух (я невольно вздрогнул при этих словах), сгустившийся вокруг стен и пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и на него самого, — так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я удержусь от них.

Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были подобны видениям его. Мы вместе читали «Вер-Вер» и «Шартрезу» Грессе; «Бельфегора» Маккиавели; «Небо и Ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николая Климма» Гольберга; «Хиромантии» Роберта

Флюда, Жана Д'Эндажинэ, Делантамбра; «Путешествие в Голубую даль» Тика; «Город Солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку, издание Directorium Inquisitorium[73] доминиканца Эймерика де Жиронна, и отрывки из Помпония Мелы об африканских сатирах и эгипанах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам.

Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и любопытный готический in quarto служебник одной забытой церкви — «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae»[74].

Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и об её вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить её тело на две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов здания. Я не счёл возможным оспаривать это странное решение в виду его побудительной причины. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер

---

[73] Примечания: 73
«Руководство по инквизиции» *(лат.)*.

[74] Примечания: 74
«Бдения по усопшим, как их поет хор майнцкой церкви» *(лат.)*.

болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдалённость фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность.

По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоём перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущённом воздухе), был маленький сырой погреб, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нём был устроен склад пороха, или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг.

Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Быть может,

угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая её во цвете лет, оставила следы, отличительные во всех вообще каталептических болезнях: слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и, с стеснённым сердцем, вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.

Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменились. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными торопливыми нетвёрдыми шагами. Бледное лицо его приняло, если возможно, ещё более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие звуки; в нём слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает сме-

лости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит недвижимо, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня. Я чувствовал, что влияние его суеверных грёз сказывается и на мне медленно, но неотразимо.

На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенною силой.

Проходил час за часом, но сон бежал от глаз моих. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение. Старался убедить себя, что оно всецело или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки: тёмных, ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но всё было тщетно. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу, и наконец демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом — к тихим неясным звукам, доносившимся неведо-

мо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побеждённый невыносимым, хотя и безотчётным ужасом, я кое-как надел платье (чувствуя, что в эту ночь не придётся спать) и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперёд по комнатам.

Сделав два-три оборота, я остановился, услыхав лёгкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя, он слегка постучал в дверь и вошёл с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, — но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его — очевидно, он был в припадке истерии. Вид его поразил меня, но я предпочёл бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что даже обрадовался его приходу.

— А вы ещё не видали этого? — сказал он отрывисто, после довольно продолжительного молчания. — Не видали? Так вот посмотрите. — С этими словами он поставил лампу в сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его.

Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своём мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе:

ветер то и дело менялся; густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались туда и сюда с неимоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние.

Несмотря на то что тучи нависли сплошной чёрной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла их своим блеском. Но, с нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку.

— Вы не должны, вы не будете смотреть на это, — сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. — Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжёлыми испарениями пруда. Закроем окно: холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте; и так мы скоротаем эту ужасную ночь.

Книга, о которой я говорил, была Mad Trist[75] сэра Ланчелота Каннинга, но назвать её любимым романом Эшера можно было разве в насмешку; её неуклюжее и вялое многословие совсем не под-

---

[75] Примечания: 75
«Безумная надежда».

ходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдёт облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать (история умственных расстройств представляет много подобных странностей). И точно, судя по напряжённому вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.

Я дошёл до того места, когда Этельред, видя, что его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так:

> «Этельред, который по природе был смел, да к тому же ещё находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева

отдался по всему лесу».

Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), будто из какой-то отдалённой части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчелота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило моё внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рёва и свиста бури.

Я продолжал:

> «Но войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлён и взбешён, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный покрытый чешуёй дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:
>
> КТО В ДВЕРЬ СИЮ ВОЙДЁТ, – ТОТ ЗАМОК ПОКОРИТ;
>
> ДРАКОНА КТО УБЬЁТ, ПОЛУЧИТ СЛАВНЫЙ ЩИТ.
>
> Тогда Этельред замахнулся палицей

и ударил дракона по голове, так что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука».

Тут я снова остановился — на этот раз с чувством ужаса и изумления, — так как услышал совершенно ясно (хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении) слабый, отдалённый, нерезкий, протяжный, визгливый звук, — совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.

Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя заметил в нём странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил,

что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланчелота:

> «Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошёл по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит; однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном».

Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдалённый, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук — точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но, когда я дотронулся до его

плеча, сильная дрожь пробежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и понял наконец его безумную речь.

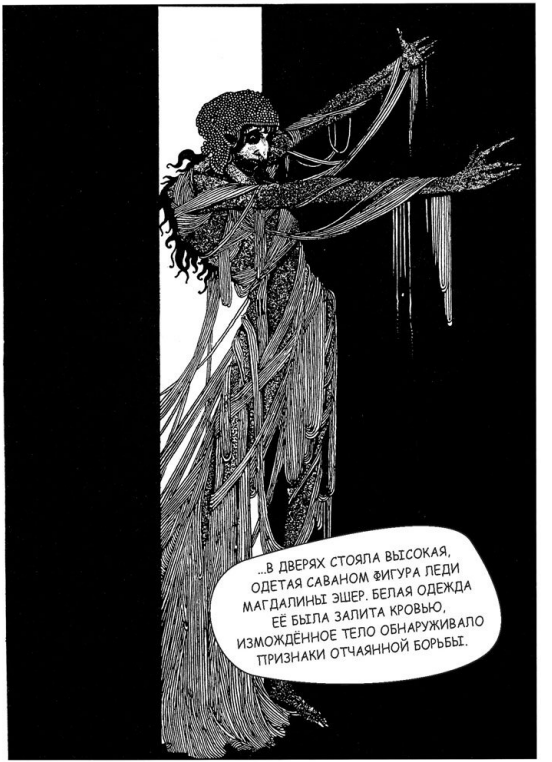
— Не слышу?.. да, я слышу… я слышал. Долго… долго… долго… много минут, много часов, много дней слышал я это — но не смел, — о, горе мне, несчастному!.. не смел… не смел сказать! Мы похоронили её живою! Не говорил ли я, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам, что я слышал её первые слабые движения в гробу. Я слышал их… много, много дней тому назад… но не смел… не смел сказать. А теперь… сейчас… Этельред… ха, ха!.. треск двери в приюте отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита!.. скажите лучше — треск гроба, визг железной двери и судорожная борьба её в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу её шагов на лестнице? Не различаю тяжёлых и страшных биений сердца её? Безумец! — Тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим

криком: — Безумец! говорю вам, что она стоит теперь за дверями!

И как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания — высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие чёрные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра — но в дверях стояла высокая, одетая саваном фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда её была залита кровью, измождённое тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге, — потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее.

Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет; я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только тёмное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих

глазах трещина быстро расширилась; налетел сильный порыв урагана; полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами; мощные стены распались и рухнули; раздался гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий, чёрный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами «Дома Эшеров».


...В ДВЕРЯХ СТОЯЛА ВЫСОКАЯ, ОДЕТАЯ САВАНОМ ФИГУРА ЛЕДИ МАГДАЛИНЫ ЭШЕР. БЕЛАЯ ОДЕЖДА ЕЁ БЫЛА ЗАЛИТА КРОВЬЮ, ИЗМОЖДЁННОЕ ТЕЛО ОБНАРУЖИВАЛО ПРИЗНАКИ ОТЧАЯННОЙ БОРЬБЫ.

Преждевременное погребение

Есть темы, представляющие глубокий интерес, но слишком ужасные, чтобы служить предметом вымысла. Романист должен избегать их, если не хочет возбудить отвращение или оскорбить читателя. Мы можем затрагивать их лишь в тех случаях, когда их освящает суровое величие истины. Мы читаем с дрожью «мучительного наслаждения» о переходе через Березину, о лиссабонском землетрясении, о лондонской чуме, о кровавой Варфоломеевской ночи, о гибели ста двадцати трёх пленных в Чёрной Яме в Калькутте. Но в этих рассказах нас трогает факт — быль — история. Будь это выдумки, они внушили бы нам отвращение.

Я перечислил некоторые из самых громких, самых трагических катастроф, занесённых в летописи человечества; но во всех этих случаях размеры бедствия усиливают его мрачный характер. Вряд ли нужно напоминать читателю, что в длинном и зловещем списке человеческих бедствий найдутся отдельные случаи, полные несравненно более жестоких страданий, чем все-

народные бедствия. И слава милосердому Богу, что случаи эти нечеловеческой муки выпадают на долю единиц, а не масс!

Быть погребённым заживо, без сомнения, одна из ужаснейших пыток, какие когда-либо приходилось испытывать смертному. Ни один разумный человек не станет отрицать, что это случается часто, и очень часто. Границы между жизнью и смертью нечто неопределённое и смутное. Кто скажет, где кончается одна и начинается другая? Мы знаем, что при некоторых болезненных состояниях совершенно прекращаются все видимые жизненные функции, хотя на самом деле это прекращение только временная приостановка, минутная задержка в непонятном механизме человеческого тела. Проходит известный срок времени, и какой-то невидимый таинственный закон снова пускает в ход волшебные рычаги и магические колёса. Серебряная нить не порвана, золотой кубок не разбит навсегда. Но где же пребывала душа в это время?

Независимо от неизбежного заключения a priori[76], что одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям, что случаи временного

---

[76] Примечания: 76
Априори *(лат.)* — независимо от опыта.

прекращения жизненных функций должны приводить иногда к погребениям заживо, независимо от этих отвлечённых соображений, прямое свидетельство медиков и опыта доказывает, что такие погребения бывали не раз. Я мог бы, в случае надобности, привести не менее сотни вполне достоверных примеров. Одно весьма замечательное происшествие в этом роде, обстоятельства которого, быть может, ещё свежи в памяти некоторых моих читателей, случилось не так давно в Балтиморе и произвело сильное и тягостное впечатление в обширном кругу публики. Жена одного из самых уважаемых граждан — известного адвоката и члена парламента — внезапно заболела какой-то странной болезнью, сбивавшей с толку врачей. После тяжких страданий она умерла, или была сочтена умершей. Никому в голову не пришло — да и не могло прийти, — что она жива. Все признаки трупа были налицо. Черты лица обострились и ввалились. Губы побелели. Глаза угасли. Пульс прекратился. Тело охладилось, и, в течение трёх дней, пока лежало непогребённым, успело окоченеть, как камень. Ввиду быстрого наступления того, что казалось разложением, похороны были ускорены.

Покойницу положили в семейном склепе, кото-

рый в течение трёх последующих лет ни разу не отпирался. По истечении этого срока его открыли для помещения саркофага; но, увы! какой страшный удар ожидал мужа, который сам отворил дверь. Когда он распахнул её половинки, отворяющиеся наружу, кто-то в белой одежде повалился к нему на грудь. Это был скелет его жены, в ещё не истлевшем саване.

Тщательное исследование показало, что она очнулась дня через два после погребения, — билась в гробу, пока он не свалился с катафалка, причём раскололся, так что она могла выйти. Масляная лампа, случайно забытая в склепе, оказалась совершенно пустой: может быть, впрочем, всё масло улетучилось вследствие испарения. На верхней ступеньке лестницы, у входа в склеп валялся осколок гроба: по-видимому, она стучала им в железную дверь. Тут она упала в обморок, а может быть, и умерла от страха; падая, зацепилась саваном за дверь, и в этом положении осталась и истлела.

В 1810 году случай погребения заживо имел место во Франции при обстоятельствах, которые вполне оправдывают поговорку: правда чудеснее выдумки. Героиня происшествия — мадемуазель Викторина Лафуркад, молодая девушка знатной

фамилии, богатая и красавица. В числе её поклонников был некто Жюльен Боссюэ, бедный парижский litterateur, или журналист. Его таланты и достоинства завоевали ему благосклонность красавицы, но родовая гордость заставила её отклонить предложение Боссюэ и выйти за некоего Ренелля, банкира и довольно известного дипломата. Однако после свадьбы этот господин стал относиться к ней очень небрежно, чуть ли даже не колотил её. Прожив с ним несколько лет, она умерла — по крайней мере, впала в состояние, ничем не отличающееся от смерти. Её похоронили, — не в склепе, а в обыкновенной могиле, на кладбище её родной деревни. Терзаясь отчаянием, до сих пор верный своей любви, Жюльен приезжает в деревню из Парижа с романтическим намерением вырыть из могилы тело и взять себе на память роскошные волосы красавицы. Ночью он является на кладбище, разрывает могилу, открывает гроб и видит, что глаза покойницы открыты. Оказалось, что её похоронили живою. Жизненные силы не исчезли; ласки возлюбленного пробудили её от летаргии, которую приняли за смерть. Он отнёс её в гостиницу и с помощью сильных укрепляющих средств (он обладал большой начитанностью по

части медицины) окончательно оживил её. Она узнала своего избавителя и оставалась у него до выздоровления. Женское сердце её не было каменным, этот последний урок любви смягчил его. Она отдала его Боссюэ и не возвращалась более к супругу, но, скрыв от него своё воскресение, бежала с возлюбленным в Америку. По истечении двадцати лет они вернулись во Францию, в надежде, что время изменило её до неузнаваемости. Однако они ошиблись в расчёте: при первой же встрече г. Ренелль узнал свою жену и потребовал её к себе. Она отказалась, а суд решил, что, в виду исключительных обстоятельств и за давностью дела, права мужа по справедливости и по закону следует считать прекратившимися.

Лейпцигский «Хирургический журнал» — весьма ценный и важный научный сборник, который следовало бы какому-нибудь американскому книгопродавцу издавать в переводе на наш язык, — сообщает об очень печальном случае того же рода.

Один артиллерийский офицер, мужчина громадного роста и железного здоровья, упал с лошади и ушиб голову так, что лишился чувств. Череп был слегка повреждён, однако рана оказалась неопасной. Трепанация удалась. Были

приняты все меры к исцелению пострадавшего. Тем не менее он всё более и более впадал в летаргию и, наконец, был сочтён за умершего.

Погода стояла жаркая, и покойника схоронили с почти неприличной торопливостью на одном общественном кладбище. Похороны состоялись в четверг. В воскресенье на кладбище собралось много посетителей. Около полудня один из них возбудил общее волнение, заявив, что, когда он сидел на могиле офицера, насыпь зашевелилась, как будто покойник бился в гробу. Сначала никто не поверил этому заявлению, но непритворный ужас рассказчика и настойчивость его подействовали на толпу. Тотчас достали заступы и поспешно разрыли неглубокую и кое-как забросанную могилу. Офицер был или казался мёртвым, но он не лежал, а сидел в гробу, крышку которого успел приподнять в своей отчаянной борьбе.

Его отнесли в ближайший госпиталь, где врачи объявили, что он ещё жив. Спустя несколько часов офицер очнулся, узнал своих знакомых и кое-как рассказал о своей агонии в гробу.

Из рассказа его выяснилось, что он не менее часа провёл в гробу, очнувшись, — прежде чем потерял сознание.

Гроб был засыпан очень небрежно, и воздух, по всей вероятности, проникал сквозь рыхлую землю. Он слышал шаги посетителей над своего головой и сам старался привлечь их внимание. Вероятно, этот шум на кладбище и разбудил его от летаргии, но, очнувшись, он тотчас же понял весь ужас своего положения.

Этот больной поправлялся довольно быстро и был уже близок к полному выздоровлению, но погиб жертвой медицинского шарлатанства. Его вздумали лечить электричеством, и он испустил дух в пароксизме, вызванном гальванической батареей.

По поводу гальванической батареи я вспомнил известный и весьма замечательный случай, когда этот аппарат возвратил к жизни молодого лондонского стряпчего, пролежавшего в могиле двое суток.

Этот господин, мистер Эдуард Степльтон, умер (по-видимому) от тифозной горячки, сопровождавшейся необычайными симптомами, возбудившими любопытство врачей. После его кажущейся смерти они обратились к родным покойного с просьбой разрешить исследование post

mortem[77], но получили отказ. Как это часто бывает в подобных случаях, они решились вырыть труп из могилы и анатомировать его потихоньку. Сговорились с похитителями трупов, которых всегда много в Лондоне; и на третью ночь после погребения предполагаемый труп был вырыт из глубокой, в восемь футов, могилы и доставлен в препаровочную одного частного госпиталя.

Был уже сделан надрез в области желудка, когда свежий, без всяких признаков разложения, вид тела навёл на мысль применить гальваническую батарею. Ряд опытов сопровождался обычными явлениями, не представлявшими ничего особенного; только раз или два замечено было, что судорожные движения казались более, чем обыкновенно, жизненными.

Время шло. Утро было близко, так что врачи решили, наконец, приступить к вскрытию. Однако один студент, желая проверить какую-то свою теорию, убеждал сделать ещё опыт, приложив батарею к одному из грудных мускулов. Сделали надрез, и, лишь только приложили проволоку, мертвец быстрым движением поднялся со стола, соскочил на пол, бросил вокруг себя беспокойный

---

[77] Примечания: 77
После смерти *(лат.)*.

взгляд и заговорил. Слов его нельзя было понять, но ясно было, что это слова, членораздельные звуки. Проговорив их, он тяжело повалился на пол.

В первую минуту все оцепенели от страха, но скоро опомнились. Очевидно мистер Степльтон был жив, хотя в обмороке. Нашатырный спирт скоро привёл его в чувство, затем он быстро поправился и вернулся в общество своих друзей, от которых, однако, скрывали факт его оживления, пока не исчезла всякая опасность рецидива. Можно себе представить их удивление — их несказанное изумление.

Но самая поразительная особенность этого случая заключается в воспоминаниях мистера Степльтона. По его словам, он ни минуты не терял сознания вполне; смутно и неясно, но он сознавал всё, что с ним случилось с того момента, когда врачи произнесли «умер», до той минуты, когда он упал без чувств в госпитале. «Я жив», — вот слова, которые он пытался произнести, очнувшись в препаровочной.

Не трудно было бы увеличить число подобных историй, но я воздерживаюсь от этого, так как и без того можно считать доказанным, что погребения заживо иногда случаются. Если принять в расчёт, как редко по самой природе своей по-

добные случаи доходят до нашего сведения, то придётся допустить, что они могут часто случаться без нашего ведома. И в самом деле, вряд ли можно указать хоть один случай раскопки кладбища, при котором не были бы найдены скелеты в позах, наводящих на самые ужасные подозрения.

Подозрения ужасны, но ещё ужаснее самая казнь! Можно смело сказать, что ни одно положение не связано с таким адским телесным и душевным состоянием, как погребение заживо. Невыносимая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, тесный саван, жёсткие объятия узкого гроба, чёрная непроглядная тьма, безмолвие, точно в морской пучине, невидимое, но ощутимое, присутствие победителя-червя, мысль о воздухе и траве наверху; воспоминание о друзьях, которые могли бы спасти вас, если бы узнали о вашем положении; уверенность, что они никогда не узнают; что ваша участь — участь подлинного трупа, — всё это наполняет ещё бьющееся сердце таким неслыханным, невыносимым ужасом, какого не в силах себе представить самое смелое воображение. Мы не знаем большей муки на земле и не можем представить себе ужаснейшей казни в глубочай-

ших безднах ада. Понятно, что рассказы на эту тему представляют глубокий интерес, который, однако, в силу благоговейного ужаса, возбуждаемого самой темой, всецело зависит от нашего убеждения в истине рассказа. То, что я намерен рассказать, заимствовано из моих собственных воспоминаний, из моего личного опыта.

В течение нескольких лет я был подвержен припадкам странной болезни, которую врачи прозвали каталепсией за неимением более определённого названия. Хотя и отдалённые, и непосредственные причины, равно как и диагноз этого недуга, ещё остаются тайной, но его главные и второстепенные признаки довольно хорошо исследованы. По-видимому, они изменяются только по степени. Иногда пациент впадает в летаргию на день или даже на меньший срок. Он лежит без чувств, без движения, но слабые биения сердца ещё заметны; остаются некоторые следы теплоты; лёгкий румянец окрашивает середину щёк; а приставив зеркало к губам, можно заметить неровную, медленную, слабую деятельность лёгких. Но бывает и так, что припадок длится недели, даже месяцы, и в такой форме, что самое строгое медицинское исследование не откроет ни малейших признаков различия

между этим состоянием и тем, которое мы признаём безусловною смертью. Обыкновенно такой пациент избегает преждевременного погребения только потому, что друзья его знают о прежних припадках, что вследствие этого у них возникает сомнение, особливо, если нет признаков разложения. К счастью, болезнь эта овладевает человеком постепенно. Первые проявления, хотя и мало заметны, имеют уже недвусмысленный характер. Мало-помалу припадки становятся всё резче и резче и, с каждым разом, тянутся дольше. Это обстоятельство — главная гарантия против погребения. Несчастный, у которого первый припадок имел бы острый характер, наблюдаемый в крайних степенях болезни, был бы почти неизбежно осуждён лечь живым в могилу.


И В САМОМ ДЕЛЕ, ВРЯД ЛИ МОЖНО УКАЗАТЬ ХОТЬ ОДИН СЛУЧАЙ РАСКОПКИ КЛАДБИЩА, ПРИ КОТОРОМ НЕ БЫЛИ БЫ НАЙДЕНЫ СКЕЛЕТЫ В ПОЗАХ, НАВОДЯЩИХ НА САМЫЕ УЖАСНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ.

Моя болезнь не отличалась сколько-нибудь значительно от описанных в медицинских книгах. По временам я без всякой видимой причины впадал, мало-помалу, в состояние полулетаргии, или полуобморока; и в этом состоянии, не чувствуя никакой боли, лишённый способности двигаться или, вернее сказать, лишённый способности думать, но со смутным летаргическим сознанием своего существования и присутствия лиц, окружавших мою постель, я оставался до тех пор, пока кризис разом восстановлял мои силы. Иногда же болезнь поражала меня быстро и неотразимо. На меня находила слабость, столбняк, озноб, головокружение, и я лишался чувств. Затем по целым неделям вокруг меня была пустота, тьма, безмолвие, и вселенная превращалась в ничто. Словом, наступало полное небытие. От этих припадков я оправлялся тем медленнее, чем быстрее они наступали. Как заря для бесприютного, одинокого странника, блуждающего по улицам в долгую тоскливую зимнюю ночь, так же медленно, так же лениво, так же отрадно возвращался ко мне свет сознания.

Помимо этих припадков моё здоровье, по-видимому, не ухудшилось; я не замечал, чтобы они сопровождались какими-либо болезненными яв-

лениями, если не считать особенности моего сна. Пробудившись, я никогда не мог сразу овладеть моими чувствами и в течение нескольких минут оставался в самом растерянном и нелепом состоянии; душевные способности вообще, а память в особенности, совершенно отсутствовали.

Я не испытывал никаких физических страданий, но бесконечное душевное расстройство. Моё воображение бродило по склепам. Я толковал «о червях, могилах и эпитафиях». Я только и думал о смерти, и мысль о погребении заживо преследовала меня неотступно. Ужасная опасность, которой я подвергался, не давала мне покоя ни днём, ни ночью. Днём она терзала меня нестерпимо, ночью ещё нестерпимее. Когда зловещая тьма окутывала землю, я дрожал под гнётом ужасной мысли, дрожал, как перья на погребальной колеснице. Когда природа уже не могла переносить бодрствования, я всё-таки не без борьбы поддавался сну, так пугала меня мысль проснуться в могиле. И когда, наконец, сон овладевал мною, я переносился в царство призраков, над которым простирала широкие траурные крылья всё та же мысль о могиле.

Из бесчисленных мрачных видений, угнетавших меня во сне, приведу для примера только

одно. Мне казалось, будто я впал в каталептический сон, более глубокий и продолжительный, чем обыкновенно. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба, и нетерпеливый невнятный голос шепнул мне: «Вставай!»

Я сел на кровати. Тьма была кромешная. Я не мог рассмотреть фигуру того, кто разбудил меня. Не мог вспомнить, когда со мной случился припадок и где я нахожусь. Между тем как я сидел неподвижно, стараясь собраться с мыслями, та же холодная рука крепко схватила меня немного повыше кисти, нетерпеливо тряхнула мою руку, и тот же дрожащий голос прошептал:

— Вставай! Ведь я же велел тебе вставать.

— А кто ты такой? — спросил я.

— У меня нет имени в тех областях, где я обитаю, — печально отвечал он, — я был смертный, теперь я дух. Я был безжалостен, теперь я сострадателен. Ты чувствуешь, что я дрожу. Мои зубы стучат не от холода этой ночи, этой бесконечной ночи. Но это отвратительное зрелище невыносимо. Как можешь ты спокойно спать? Крики этой агонии не дают мне покоя. Я не в силах выносить это зрелище. Вставай! Пойдём, я открою перед тобой могилы. Это ли не зрелище скорби, смотри!

Я взглянул, и невидимая фигура, всё ещё дер-

жавшая меня за руку, открыла передо мной могилы всего человечества. Из каждой исходил слабый фосфорический свет гниющих тел, так что я мог рассмотреть глубочайшие склепы и увидел скорченные трупы в их печальном и торжественном сне в обществе могильного червя. Но увы! Спящих оказалось на много миллионов меньше, чем таких, которые вовсе не спали; отовсюду долетали звуки слабой борьбы, чуялось общее тоскливое беспокойство, из бездонных колодцев доносился печальный шорох саванов, да и те, кто лежал спокойно, в большей или меньшей степени изменили неловкие и неестественные позы, в которых были погребены. И снова голос шепнул мне:

— Это ли, о, это ли не зрелище скорби? — Но прежде чем я успел что-нибудь ответить, фигура выпустила мою руку, фосфорический свет угас, могилы разом захлопнулись, и из них вырвался отчаянный вопль множества голосов:

— Это ли, о Господи, это ли не зрелище скорби?

Эти ночные кошмары оказывали ужасное влияние и на часы моего бодрствования. Нервы мои совершенно расстроились, и я сделался жертвой беспрерывного страха. Я боялся ездить верхом, гулять, боялся всякого развлечения, ради которо-

го нужно было выходить из дома. Я не решался оставить общество лиц, которым были известны мои припадки, так как, случись подобный припадок в их отсутствии, меня бы могли похоронить заживо. Я сомневался в заботливости и верности лучших друзей моих. Я боялся, что в случае, если припадок затянется дольше, чем обыкновенно, они, наконец, сочтут меня умершим. Я дошёл до того, что спрашивал себя, — а что, если они рады будут воспользоваться затянувшимся припадком и отделаться от меня, причинявшего им столько хлопот? Напрасно они старались успокоить меня самыми торжественными обещаниями. Я заставил их покляться самыми страшными клятвами, что они не зароют меня, пока моё тело не разложится настолько, что дальнейшее замедление станет невозможным, но даже после этого мой смертельный страх не поддавался никаким увещаниям, никаким утешениям. Я принял целый ряд мер предосторожности. Между прочим, перестроил семейный склеп так, чтобы его можно было отворить изнутри. Стоило только слегка надавить длинный рычаг, далеко вдававшийся в склеп, чтобы железные двери распахнулись. Были также приспособления для свободного доступа света и воздуха и для запаса пищи и питья, поме-

щавшихся подле самого гроба, куда должны были меня положить. Гроб этот был мягко и тепло обит и накрывался крышкой в виде свода с пружинами, посредством которых крышка откидывалась при малейшем движении тела. Кроме того, под крышей склепа был повешен большой колокол, от которого спускалась верёвка, проходившая в отверстие гроба: её должны были привязать к моей руке. Но увы! что значат все наши предосторожности перед судьбой? Даже эти ухищрения не могли спасти от пытки преждевременного погребения несчастного, осуждённого на эту пытку!

Случилось однажды, — как часто случалось и раньше, — что я пробудился при полном бесчувствии к первому слабому и смутному сознанию бытия. Медленно — черепашьим шагом — наступал тусклый, серый рассвет душевного дня. Ощущение неловкости и одеревенения. Вялое состояние смутного недомогания. Ни тревоги, ни надежды, ни усилий. Затем, после долгого промежутка, звон в ушах; затем, после промежутка ещё более долгого, ощущение мурашек в конечностях; затем бесконечный, по-видимому, период приятного спокойствия, когда пробудившиеся чувства вырабатывали мысль; затем кратковременное возвращение к небытию, затем внезапное про-

буждение. Наконец, лёгкая дрожь в одном веке, и тотчас затем электрический удар смертельного бесконечного ужаса, от которого кровь хлынула потоком от висков к сердцу. И только теперь первая положительная попытка мыслить. Только теперь успех — да и то неполный и мимолётный. Наконец, память возвращается ко мне настолько, что я начинаю сознавать своё положение. Я чувствую, что очнулся не от простого сна. Я припоминаю, что со мной случился припадок каталепсии. И вот, наконец, мой трепещущий дух захвачен, точно бурным натиском океана, сознанием грозной опасности, — одной-единственной адской мыслью.

Несколько минут я пролежал не двигаясь. Почему же? Сделать усилие, которое открыло бы мне участь мою, я не смел, а между тем сердце подсказывало мне, что она совершалась. Отчаяние, — подобного которому не может вызвать никакое другое несчастье, — одно отчаяние заставило меня после долгой нерешимости поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Кругом тьма — непроглядная тьма. Я знал, что припадок кончился. Знал, что кризис давно совершился. Знал, что теперь я вполне владею способностью зрения, и всё-таки кругом была тьма — чёрная

тьма — полное, совершенное отсутствие света, ночь, которая никогда не проходит.

Я попытался крикнуть; губы мои и пересохший язык судорожно зашевелились, но никакого звука не вылетело из лёгких, которые, точно под тяжестью целой горы, корчились и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе.

Движение челюстей при этой попытке крикнуть показало мне, что они подвязаны, как это обыкновенно делают у покойников. Я чувствовал также, что лежу на чём-то жёстком и что-то жёсткое сжимает мне бока. До сих пор я не пытался пошевелить хоть одним членом, но теперь разом поднял руки, которые были вытянуты и сложены крест-накрест. Они стукнулись о дерево, находившееся дюймов на шесть над моею головой. Не оставалось более сомнений, я лежал в гробу.

В эту минуту бесконечного ужаса скользнул ко мне кроткий херувим надежды, я вспомнил о своих предосторожностях. Я стал судорожно биться, старался поднять крышку — она не двигалась. Я искал верёвку от колокола — её не было. И вот ангел-утешитель отлетел от меня, и ещё горшее отчаяние восторжествовало. Я не мог не заметить отсутствия обивки, которую так тщательно

приготовил, и в то же время моё обоняние внезапно было поражено сильным специфическим запахом сырой земли. Вывод был неотразим: я находился не в склепе. Припадок застиг меня вне дома — среди чужих людей, когда или как, я не мог припомнить; и меня зарыли как собаку, — заколотили в простом гробу и схоронили глубоко, глубоко в обыкновенной, безвестной могиле.

Когда это страшное убеждение пронизало мою душу, я снова попытался крикнуть; и на этот раз попытка удалась. Долгий, дикий, бесконечный крик или вой агонии огласил тишину подземной ночи.

— Эй! эй! что такое! — раздался в ответ чей-то грубый голос.

— Что за чертовщина! — крикнул другой.

— Вылезай отсюда! — подхватил третий.

— Что ты там воешь, словно влюблённый кот? — сказал четвёртый; затем меня без всяких церемоний схватили и принялись трясти какие-то молодцы очень грубого вида. Они не разбудили меня — я и без того проснулся, — но вернули мне обладание памятью.

Это происшествие случилось близ Ричмонда в Виргинии. В сопровождении приятеля, я предпринял охотничью экскурсию по берегам

Джеймс-Ривер. Вечером захватила нас буря. Небольшая баржа, нагруженная садовой землёй, стоявшая на якоре у берега, оказалась единственным нашим убежищем. За неимением лучшего, мы воспользовались им и проведи ночь на барже. Я занял одну из двух кают, — а можно себе представить, что такое каюта баржи в шестьдесят или семьдесят тонн. В той, которую занял я, постели вовсе не было. Наибольшая ширина её равнялась восемнадцати дюймам; столько же она имела в высоту от пола до потолка. Мне стоило немалого труда залезть в неё. Тем не менее я заснул крепко; и всё моё видение — так как это не был сон или бред — явилось естественным следствием моего положения, обычного направления моих мыслей и обстоятельства, о котором я уже упоминал: неспособности собраться с мыслями, а особенно овладеть памятью долгое время после пробуждения. Люди, которые трясли меня, были хозяева баржи и работники, нанятые для выгрузки. Запах земли исходил от груза. Повязка под челюстями был шёлковый платок, которым я обвязал голову за неимением ночного колпака.

Во всяком случае, пытка, которую я испытывал в течение некоторого времени, была ничуть не меньше мук погребённого заживо. Она была

ужасна, невыразима; но нет худа без добра: самая чрезмерность страдания вызвала в душе моей неизбежное противодействие. Мой дух окреп, успокоился. Я уехал за границу. Предался физическим упражнениям. Дышал чистым воздухом полей. Стал думать о других предметах, кроме смерти. Расстался с медицинскими книгами. «Бухана» я сжёг. Перестал читать «Ночные мысли», всякую ерунду о кладбищах — бабьи сказки вроде той, которую сейчас рассказал. Словом, я стал другим человеком и зажил жизнью человека. Со времени этой достопамятной ночи я навсегда расстался со своими могильными страхами, а вместе с ними исчезли и каталептические припадки, быть может, бывшие скорее следствием, чем причиной этих страхов.

Бывают минуты, когда даже в глазах трезвого рассудка наш печальный мир становится адом. Но воображение человеческое не может безнаказанно спускаться в такие бездны. Увы! мрачные могильные ужасы существуют не в одном воображении; но подобно демонам, в, обществе которых Афразиаб[78] спустился с Оксуса, они должны спать — иначе растерзают нас; а мы не должны

[78] Примечания: 78

Афрази*а*б (Афраси*а*б) — легендарный царь в иранской мифологии.

тревожить их сна — иначе погибнем.

Сердце-обличитель

Правда! я нервен, ужасно, ужасно нервен, но почему вы решили, что я сумасшедший? Болезнь обострила чувства мои, а не уничтожила, не притупила их. Больше всего обострилось чувство слуха. Я слышал всё, что происходит на небе и на земле. Я слышал многое, что происходит в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте и замечайте, как толково, как спокойно я расскажу вам всю эту историю.

Не могу объяснить вам, каким образом эта мысль пришла мне в голову, но, раз зародившись, она не давала мне покоя ни днём, ни ночью. Цели у меня никакой не было. Ненависти тоже. Я любил старика. Он не сделал мне ничего дурного. Он никогда не оскорблял меня. Золото его меня не прельщало. Я думаю, что всему причиной был его глаз. Да, именно глаз! Один из глаз его был, как у коршуна, — бледно-голубой, с перепонкой. Когда он смотрел на меня, я весь холодел и постепенно, мало-помалу, дошёл до твёрдого решения убить старика и, таким образом, навсегда избавиться от глаза его.

Так вот как оно было. Вы думаете, что я сумасшедший. Сумасшедшие сами не знают, что делают. А посмотрели бы вы на меня. Посмотрели бы вы, как умно, осторожно, как тонко я вёл дело. Никогда я не был так любезен со стариком, как в последнюю неделю перед убийством. Каждую полночь я поворачивал ручку двери его и отворял её — тихонько, тихонько! Потом, отворив дверь настолько, чтобы можно было просунуть голову, я просовывал туда сначала фонарь, закрытый наглухо, так что ни единый луч света не выходил из него, а потом и голову. О, вы засмеялись бы, если бы увидели, как ловко я проделывал это: тихонько, тихонько, чтобы не разбудить старика. Мне нужно было не менее часа, чтобы просунуть голову совсем и рассмотреть, как он лежит в постели. Что? Разве сумасшедший может действовать так умно? Затем, просунув голову, я осторожно приоткрывал фонарь, — о, чрезвычайно осторожно (потому что шарнир скрипел) — ужасно осторожно, — и лишь настолько, чтобы один тонкий луч падал на этот коршунов глаз. Я проделывал это семь ночей кряду, всякий раз ровно в полночь, но глаз всегда был закрыт, и я не мог сделать моё дело, потому что не старик мучил меня, а его дурной глаз. И каждое утро я смело входил к нему

в комнату, бойко разговаривал с ним, ласково осведомлялся, как он провёл ночь. Как видите, он был бы необычайно проницателен, если бы заподозрил, что я каждую ночь в двенадцать часов смотрю на него.

На восьмую ночь я ещё осторожнее отворял дверь. Минутная стрелка движется быстрее, чем двигалась рука моя. Никогда ещё я не чувствовал в такой степени своих способностей, своего остроумия.

Я едва сдерживал чувство торжества. Подумать только: я потихоньку отворял его дверь, а он и не подозревал о моих действиях, о моих тайных намерениях. Я чуть не рассмеялся при мысли об этом, и, может быть, он слышал меня, потому что внезапно пошевелился в постели. Вы думаете, я отдёрнул голову, — как бы не так. В комнате его было темно, как в могиле (потому что ставни были закрыты наглухо из опасения воров), и я знал, что он не видит, как я отворяю дверь, и продолжал отворять её — всё шире, шире.

Я просунул голову и собирался открыть фонарь, как вдруг петля слегка заскрипела, и старик, подпрыгнув на кровати крикнул:

— Кто там?

Я стоял спокойно и ничего не отвечал. Целый

час я простоял, не шелохнувшись, и не слышал, чтобы он снова улёгся в постель. Он всё сидел на ней, прислушиваясь, как и мне случалось сидеть по ночам.

Внезапно я услышал слабый стон и узнал в нём стон смертельного ужаса. Не боли, не жалобы, о, нет! — то был тихий, глухой звук, поднимающийся из глубины души, подавленной страхом. Я хорошо знал этот звук. Не раз в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усугубляя своим зловещим отзвуком мой ужас. Говорю вам, я хорошо знал этот звук. Я знал, что чувствует старик, и пожалел его, хотя сердце моё смеялось. Я знал, что он не смыкал глаз с той самой минуты, когда лёгкий шум у двери заставил его пошевелиться. Страх его всё время возрастал. Он старался убедить себя, что бояться нечего, — и не мог. Он говорил себе: «это ничего, это ветер прошумел в трубе; мышь пробежала по полу», или «это сверчок чирикнул, просто сверчок и больше ничего». Да, он пытался успокоить себя такими предположениями, но тщетно. Тщетно, потому что смерть приближалась к нему и встала перед ним огромною чёрною тенью и охватила свою жертву. И зловещее влияние этой невидимой тени заставляло его чувствовать, хотя

он ничего не видел и не слышал, — чувствовать присутствие моей головы в комнате.

Простояв, таким образом, очень долго и не дождавшись, чтобы он улёгся, я решился приотворить, чуть-чуть, на волосок приотворить фонарь. Итак, я стал отодвигать дверцу… можете себе представить, как тихо, тихо… пока, наконец, тонкий, слабый луч, как нить паутины, вырвался из фонаря и упал на глаз коршуна.

Он был открыт широко, широко открыт, и бешенство овладело мною, когда я взглянул на него. Я видел его совершенно ясно — тусклый, голубой, с отвратительной перепонкой, при виде которой дрожь пробирала меня до мозга костей, — но лица и туловища я не мог рассмотреть, так как точно по какому-то инстинкту направил луч как раз на это проклятое место.

Говорил я вам, что вы принимаете за сумасшествие необыкновенную остроту моих чувств? говорил?.. Ну, так вот в эту самую минуту я услышал тихий, глухой, частый стук, точно тиканье часов, завёрнутых в вату. И этот звук был мне хорошо знаком. Я знал, что это бьётся сердце старика. Бешенство моё усилилось, как храбрость солдата разгорается от барабанного боя.

Но я всё ещё сдерживался и стоял смирно. Я едва

дышал. Я держал фонарь неподвижно. Старался, насколько возможно, удерживать луч на одном месте. Между тем адский стук сердца усиливался. С каждым мгновением оно билось быстрее и быстрее, громче и громче… Старик должен был испытывать невыносимый ужас! И всё громче, громче с каждой минутой, — замечаете? Я вам говорил, что я нервен… да, нервен. И этот странный стук, в глухую полночь, среди зловещей тишины, царившей в этом старом доме, возбуждал во мне ужас неодолимый. Но всё-таки я сдерживался и ещё несколько минут простоял смирно. А стук раздавался всё громче и громче. Я думал, что сердце вот-вот лопнет. Тут же мной овладело беспокойство: что, если соседи услышат этот стук? Час старика пробил! С диким воем я открыл фонарь и бросился в комнату. Он вскрикнул… только раз. Я в одно мгновение сдёрнул его на пол, навалил на него тяжёлый матрас. Я весело смеялся, видя, что дело зашло так далеко. Но ещё несколько минут сердце глухо билось. Это, впрочем, не беспокоило меня — я знал, что за стеной не услышат. Наконец, оно затихло. Старик был мёртв. Я стащил матрас, осмотрел тело. Да, он был мёртв, мёртв, как колода. Я приложил руку к сердцу его и продержал её так несколько минут.

Ни признака жизни! Мёртв, как колода. Глаз его не будет больше мучить меня.

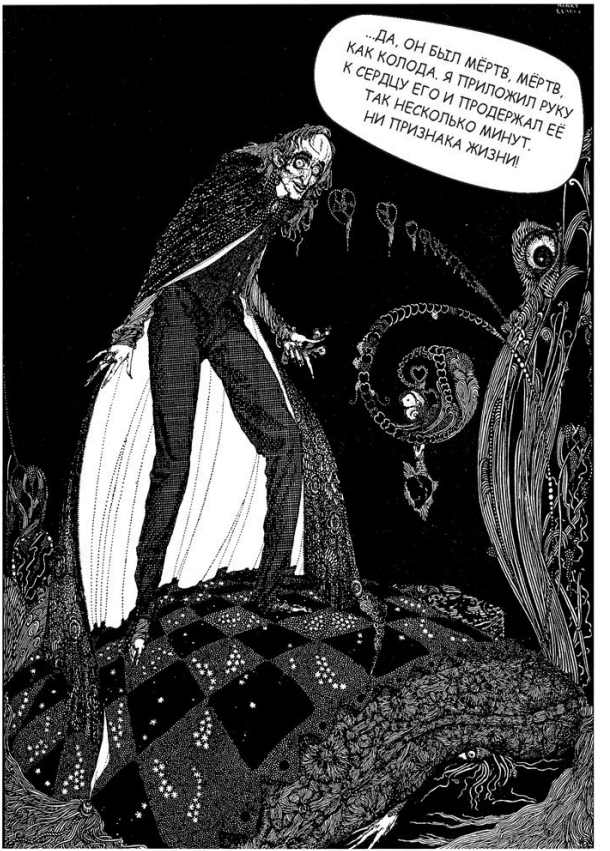
Если вы всё ещё считаете меня сумасшедшим, то, конечно, разубедитесь в этом, когда я вам расскажу, как искусно я спрятал тело убитого. Ночь близилась к концу, и я работал торопливо, но без шума.

Я вынул из пола три доски и запрятал туда труп. Затем уложил доски на прежнее место, — так тщательно, так искусно, что ни один глаз человеческий — даже его глаз — не увидал бы тут ничего подозрительного. Подмывать не приходилось, — крови не было, — ни пятнышка. Я был слишком осторожен для этого.

Когда я окончил свою работу, было четыре часа утра, — но темно, как в полночь. Едва пробили часы, послышался стук в наружную дверь. Я пошёл отворить, совершенно спокойно, — теперь мне нечего было бояться. Вошли трое людей и очень вежливо отрекомендовались полицейскими чиновниками. Один из моих соседей слышал ночью крик, возбудивший в нём подозрение. Он сообщил в полицию, и они (чиновники) были посланы произвести расследование.

Я улыбнулся, — ибо чего мне было бояться? Я очень любезно принял господ полицейских. Объ-

яснил им, что крикнул я сам, во сне. Сказал, что старик уехал из города. Водил их по всему дому, просил искать хорошенько, наконец, привёл в его комнату. Показал его сокровища в целости и сохранности. В порыве любезности, я даже принёс в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь, а сам с безумной дерзостью, в сознании своего торжества, поставил свой стул на том самом месте, где было спрятано тело моей жертвы.


...ДА, ОН БЫЛ МЁРТВ, МЁРТВ, КАК КОЛОДА. Я ПРИЛОЖИЛ РУКУ К СЕРДЦУ ЕГО И ПРОДЕРЖАЛ ЕЁ ТАК НЕСКОЛЬКО МИНУТ. НИ ПРИЗНАКА ЖИЗНИ!

Полицейские успокоились. Моё обращение рассеяло их подозрения. Я чувствовал себя как нельзя лучше. Они присели, и мы стали болтать о том о сём. Вскоре, однако, мне сделалось дурно, и я бы рад был, если бы они ушли. У меня разболелась голова, в ушах зазвенело; но они всё сидели и болтали. Звон в ушах усиливался — всё усиливался и становился яснее; я повышал голос, стараясь заглушить этот звук, — но он становился всё громче, всё яснее, — и, наконец, я убедился, что он раздаётся не в моих ушах.

Без сомнения, я страшно побледнел при этом открытии; однако, продолжал болтать ещё развязнее и громче. Но звук усиливался, — что мне было делать? То был тихий, глухой, частый звук — точно тиканье часов, завёрнутых в вату. Я задыхался, — однако полицейские ещё не слышали его. Я говорил быстрее — громче, но звук усиливался, несмотря ни на что. Я встал, начал спорить о каких-то пустяках, возвышая голос, жестикулируя, — звук усиливался, несмотря ни на что. Почему они не хотели уйти? Я забегал по комнате, топая ногами, точно взбешённый словами полицейских, — звук усиливался, несмотря ни на что. О господи, что же я мог сделать? Я бесновался, орал, бранился! Я схватил стул и сту-

чал им об пол, — но звук усиливался, раздавался громче — громче! А эти господа всё смеялись и болтали. Неужели они не слышали? Всемогущий боже! — разумеется, слышали! — подозревали! — знали! — и забавлялись ужасом моим. Я был и остаюсь при этом убеждении. Но всё, что угодно, было лучше этой пытки, легче этого издевательства! Я не мог выносить их лицемерного смеха. Я чувствовал, что должен или закричать или умереть, — а звук раздавался!.. не умолкая!.. всё громче! громче! громче! громче!

— Негодяи, — крикнул я, — полно притворяться! Я сознаюсь!.. поднимите доски!.. здесь, здесь!.. это бьётся его проклятое сердце!

Лигейя

Тут воля, которая не умирает.
Кто познал тайны воли и её силу?
Сам Бог – великая всепроникающая воля.
Человек не уступил бы ангелам,
ни самой смерти, если бы не слабость
его воли!

Джозеф Гленвилл

Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда, ни даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесённых мною страданий. Или, быть может, я потому не могу теперь вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, её редкие познания, её особенная и ясная красота, упоительное красноречие её сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в моё сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Но, кажется, впервые я встретил её и часто потом встречал в каком-то большом, старинном, ветшающем городе на Рейне. Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность её

происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!

Лигейя! Погружённый в занятия, которые по самой природе своей как нельзя более способны заглушить все впечатления внешнего мира, я одним этим словом — Лигейя — вызываю перед моими глазами образ той, которой уже нет. И теперь, когда я пишу, у меня вспыхивает воспоминание о том, что я никогда не знал родового имени той, которая была моим другом и невестой, участницей моих занятий и, наконец, моей возлюбленной женой. Было ли то прихотью моей Лигейи или доказательством силы моей страсти, не интересовавшейся этим вопросом? Или, наконец, моим собственным капризом, романтическим жертвоприношением на алтарь страстного обожания? Я лишь смутно припоминаю самый факт, мудрено ли, что я забыл, какие обстоятельства породили или сопровождали его? И если правда, что дух, называемый Возвышенным, если правда, что бледная, с туманными крылами, Аштофет[79] языческого Египта председательствовала на свадьбах, сопровождавшихся зловещими предзнаменованиями, то, без всякого сомнения, она председательствовала и на моей.

---

[79] Примечания: 79

Аштоф*е*т — богиня древнего финикийского города Сидона, на месте которого ныне находится ливанский город Сайда.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего моя память не ошибается. Это наружность Лигейи. Она была высокого роста, стройна, а впоследствии даже несколько худощава. Тщетны были бы попытки описать её величавую осанку, спокойную вольность движений, неизъяснимую стройность и мягкость походки. Она являлась и исчезала как тень. Когда она входила в мой кабинет, я узнавал о её появлении только по сладкой музыке нежного грудного голоса её или по прикосновению к моему плечу мраморной руки её. Прелестью лица никакая девушка не могла бы сравниться с нею. Это было лучезарное сновидение, рождённое опиумом; воздушное и возвышающее душу сновидение, исполненное более волшебной красоты, чем сказочные сны, реявшие над дремотными душами дочерей Делоса. Но черты лица её не представляли той условной соразмерности, которой мы совершенно напрасно приучились восхищаться в древних изваяниях язычников. «Нет красоты изысканной, — говорит Бэкон, лорд Веруламский, в своих совершенно справедливых рассуждениях о различных видах и родах красоты, — без некоторой странности в пропорциях». Но хотя я видел, что черты Лигейи не представляют классической

правильности, хотя я сознавал, что её красота действительно «изысканная», и чувствовал, что в ней много «странного», однако я тщетно пытался найти эту неправильность и определить своё собственное представление о «странном». Я всматривался в очертания высокого бледного лба её — он был безупречен; как холодно звучит это слово в применении к такому божественному величию! Кожа, не уступающая белизной чистейшей слоновой кости, величавая широта и безмятежность, лёгкие выступы над висками, и волосы, чёрные как вороново крыло, блестящие, рассыпавшиеся густыми, роскошными кольцами, к которым вполне подходил гомеровский эпитет «гиацинтовые»!

Я всматривался в тонкие очертания носа её — нигде, кроме изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же изумительно гладкая поверхность, тот же едва заметный намёк на орлиный профиль, те же гармонически изогнутые ноздри — признак свободы духа.

Я вглядывался в нежный рот её. Вот где было истинное торжество небесной прелести — в великолепном изгибе короткой верхней губы, в сладострастной дремоте нижней, в смеющихся ямочках, в игре красок, которая говорила без

слов, в зубах, отражавших с почти нестерпимым блеском каждый луч света, падавший на них, когда они открывались в спокойной и ясной, но лучезарнейшей из всех улыбок.

Я вглядывался в подбородок её. И здесь находил я эллинскую прелесть, нежность и величавость, полноту духовности, — тот облик, который бог Аполлон только во сне открыл Клеомену, сыну Клеоменову, афинянину. Наконец, устремлял я взор в глубину огромных глаз её.

Для глаз не нахожу я образца и в глубочайшей древности. Может быть, в глазах моей возлюбленной и скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Кажется, они были гораздо больше обыкновенных глаз человеческих, с более совершенным разрезом, чем у газелей долины Нурджахад. Но только иногда, в минуты возбуждения крайнего, особенность эта становилась поразительной. В эти-то минуты красота её — по крайней мере, в пламенном воображении моём — была красотою сказочных гурий. Зрачки чёрно-блестящие оттенялись агатовыми ресницами длиннейшими. Брови, слегка неправильного очерка, такого же чёрного цвета. Но «странность», которую я находил в глазах её, таилась не в очертании, не в цвете, не в блеске, а толь-

ко в выражении. О, слово бессмысленное! Звук пустой! Неопределённость, за которой прячется наше непонимание духовности. Выражение глаз её! Сколько долгих часов я размышлял о нём! Сколько летних ночей провёл без сна, стараясь измерить их глубину. Что же такое, более глубокое, чем колодец Демокрита[80], таилось в глазах моей возлюбленной? Что это? Я томился желанием разгадать эту тайну. Глаза её! Эти огромные, сияющие, божественные зрачки! Они сделались для меня близнецами созвездия Леды, а я для них — звездочётом набожным.

Среди многих непонятнейших странностей в науке о духе нет более непонятной, более захватывающей, чем то, что, кажется, ещё не отмечено школьным знанием, что, стараясь вспомнить что-либо давно забытое, мы часто находимся на самом краю воспоминания и всё-таки не можем вспомнить. Так и я: сколько раз, в упорных усилиях мысли, я чувствовал, что вот-вот откроется мне тайна глаз её, вот-вот откроется, но не открывалась и, наконец, совсем закрылась! И (странная, о, самая странная из тайн!) нередко я находил в обыкновеннейших явлениях сходство с эти-

[80] Примечания: 80

Кол*о*дец Демокр*и*та — бесконечно глубокий колодец, не имеющий дна.

ми глазами. Я хочу сказать, что после того, как прелесть Лигейи проникла в душу мою и Лигейя воцарилась в ней, как в святилище, многие явления мира величественного вызывали во мне то же чувство, которое я всегда испытывал при виде её широких, светлых зрачков. И тем не менее я не могу определить это чувство, или понять его, или исследовать. Но я испытывал его, глядя на быстро растущую виноградную лозу, на бабочку, на мотылька, на куколку, на струи водопада. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Во взглядах людей, достигших глубочайшей старости. Также одна или две звезды (особенно одна, шестой величины, двойная и переменная, близ большой звезды в созвездии Лиры) пробуждали во мне то же чувство, когда я рассматривал их в телескоп. Оно охватывало меня при известном сочетании звуков струнных инструментов и при чтении книг. Среди бесчисленных примеров помню одно место в книге Джозефа Гленвилла, которое (быть может, вследствие странности своей) всегда вызывало во мне это чувство: «Тут — воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и силу её? Сам Бог есть великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».

Годы раздумий дали мне возможность установить отдалённую связь между этим замечанием английского мыслителя и некоторыми свойствами Лигейи. Может быть, напряжённость мыслей её, действий, слов была следствием или, по крайней мере, свидетельством той исполинской воли, которая во время наших долгих отношений не успела проявиться в чём-нибудь более действительном. Из всех женщин, которых я знал, она, Лигейя, такая спокойная, невозмутимая, была добычей самых безжалостных коршунов самой лютой страсти. Но силу этой страсти я мог измерить только по чудесному расширению глаз её, пугавших и восхищавших меня, по небесной музыке, ясности, тихости глубокого голоса её и по дикой силе странных слов, ещё удвоенной противоречием с тихостью голоса.

Я упомянул о познаниях Лигейи; они были огромны, и таких я никогда не встречал в женщине. Она в совершенстве изучила древние языки, и я никогда не мог заметить у неё пробелов по части языков современных, насколько я сам с ними знаком. Да и в какой отрасли знаний, даже самых сложных и потому наиболее уважаемых школьной учёностью, замечал я пробелы у Лигейи? Как странно, как поражающе действова-

ла на меня в последнее время именно эта черта в характере жены моей. Я сказал, что мне не случалось встречать женщину с такими познаниями, но где тот мужчина, который с успехом овладел всеми обширными сферами моральных, физических и математических знаний? Я не замечал в то время того, что вижу теперь ясно, — что познания Лигейи были огромны, изумительны; но чувствовал её превосходство настолько, что подчинился с детской доверчивостью её руководству в хаосе метафизических исследований, которыми усердно занимался в первые годы после нашей свадьбы. С каким торжеством, с каким жадным восторгом, с какой небесной надеждой я чувствовал — в то время, как она наклонялась надо мною при моих попытках проникнуть в область слишком мало затронутую, слишком мало исследованную, — что восхитительные дали мало-помалу открываются мне, что, устремившись по этому долгому, неизвестному пути, я достигну, наконец, высшей мудрости, слишком божественной, слишком драгоценной, чтобы не быть запретной!

И как язвительна была моя скорбь, когда, спустя несколько лет, увидел я, что мои надежды рассеялись. Без Лигейи я был ребёнок, блуждаю-

щий во мраке ощупью. Только её присутствие, её толкование проливали свет жизни на тайны запредельных знаний, в которые мы углублялись. Не озарённая лучезарным блеском глаз её, вся эта книжная мудрость, казавшаяся раньше светлой, как золото, становилась тусклой и тяжёлой, как свинец. А глаза эти всё реже и реже сияли над страницами, которые я изучал. Лигейя была больна. Странные глаза блестели слишком ярким блеском; в бледных пальцах была восковая прозрачность, цвет смерти, и голубые жилки на высоком лбу бились при малейшем волнении. Я видел, что она должна умереть, — и отчаянно боролся в душе с жестоким Азраилом[81]. К моему удивлению, борьба её была ещё отчаянней. Сила духа её позволяла мне надеяться, что смерть придёт к ней без ужасов своих, но не то оказалось на деле. Слова не могут выразить, как свирепо боролась она с Тенью. Я стонал при виде этого жалкого зрелища. Пытался утешать, убеждать, но для её неутолимого желания жить, жить — только жить — все утешения, все доводы разума были верхом безумия. И до последней минуты, в борениях и судорогах дикого духа её, лицо её сохраняло

[81] Примечания: 81
Азра*ил* — ангел смерти.

безмятежное спокойствие. Слова её звучали всё нежнее, всё тише и тише, но я не смел задумываться над странным значением этих спокойно сказанных слов. Голова моя кружилась, когда я в восторге внимал этой сверхчеловеческой музыке, этим дерзновениям и чаяниям, которых никогда ещё не ведали смертные.

В её любви не сомневался я, а любовь такой женщины не могла быть обычной страстью. Но только смерть открыла мне всю бесконечность этой любви. Целыми часами, рука об руку, она изливала предо мной избыток сердца своего, полного страстью боготворящею. Чем заслужил я блаженство слушать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в минуту таких признаний? Но я не в силах говорить об этом. Скажу только, что в слишком женской страсти Лигейи — страсти мной не заслуженной, увы, дарованной мне, недостойному, — я усмотрел наконец причину её безумного сожаления о жизни, убегавшей так быстро. Это дикое алкание, это лютое желание жизни — только жизни — я не в состоянии описать, не в силах выразить.

В глубокую полночь — в ночь её кончины — она подозвала меня и велела прочесть стихи,

сочинённые ею несколько дней назад. Я прочёл. Вот они:

Вот он! Последний праздник! Толпа крылатых ангелов в трауре, в слезах, собралась в театр, посмотреть на игру надежд и страха, меж тем как оркестр исполняет музыку сфер.

Скоморохи, носящие образ вышнего Бога, ворчат и бормочут, снуют туда и сюда; это простые куклы, они приходят и уходят по повелению безликих существ, что реют над сценой, разливая со своих орлиных крыльев невидимое горе.

Жалкая драма! О, будь уверен, она не забудется! За её призраком вечно будет гнаться толпа, никогда не овладевая им, в безвыходном кругу, который вечно возвращается на старое место; и много безумия, и ещё более греха и ужаса в этой трагедии.

Но взгляни, в толпу гаеров крадётся что-то ползучее, что-то красное, – извивается, корчится, грызёт и пожира-

ет гаеров, – и серафимы рыдают, видя, как червь упивается человеческою кровью.

Гаснут... гаснут... гаснут... огни! И на дрожащие образы падает занавес, погребальный саван, и ангелы встают, бледные, истомлённые, и говорят, что зрелище это – трагедия «Человек», а герой – «Победитель Червь».

— Боже, — воскликнула Лигейя, вставая и поднимая руки с судорожным усилием. — Боже! Отец Небесный! Неужели это будет длиться вечно? Неужели червь-победитель не будет побеждён? Разве мы не часть Твоя? Кто, кто познал тайны воли и силу её? Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его.

И как будто изнеможённая этим усилием, она опустила свои белые руки и торжественно вернулась на ложе смерти. И, когда она испускала последний вздох, он сливался с тихим шёпотом уст её. Я наклонил к ним ухо и снова услышал слова Гленвилла: «Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».

Она умерла, а я, раздавленный горем, не мог выносить угрюмого одиночества в доме моём, в

старом, разрушающемся городе на Рейне. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем обыкновенно выпадает на долю смертных. После нескольких месяцев тоскливого и бесцельного шатания я купил аббатство в одном из самых диких и безлюдных уголков весёлой Англии. Угрюмое и холодное величие здания, полудикий вид местности, мрачные легенды, связанные с тем и другим, согласовались с безотрадным чувством, загнавшим меня в эту глухую пустыню. Оставив в прежнем виде внешность этого ветхого здания, поросшего мхом и травами, я с ребяческим своенравием и, может быть, с тайной надеждою рассеять тоску свою принялся убирать внутренность дома с царственной роскошью. Я ещё в детстве питал страсть к таким причудам, теперь она возродилась во мне, точно я поглупел от горя. Увы, я чувствую, какие ясные признаки начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и сказочных завесах, в торжественных египетских изваяниях, в причудливых карнизах и мебели, в нелепых узорах затканных золотом ковров! Я стал рабом опиума, и мои распоряжения и занятия приняли окраску грёз моих. Но не стану говорить об этих

безумствах. Скажу только о той комнате, куда в минуту затмения мыслей я привёл от алтаря мою молодую жену — преемницу незабвенной Лигейи, — золотокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион Тремен.

Вижу, как сейчас, эту свадебную комнату со всеми её мелочами, со всеми украшениями. Куда девался рассудок вельможных родителей жены моей, когда, ослеплённые блеском золота, они позволили ей, своей любимой дочери, переступить порог комнаты с таким убранством. Я сказал, что помню до мельчайших подробностей эту комнату, хотя я крайне забывчив на вещи гораздо большей важности, а в этой фантастической обстановке не было никакого порядка, никакой системы, которая могла бы удержаться в памяти. Комната в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, была пятиугольной формы и обширных размеров. Вся южная сторона пятиугольника занята окном, состоявшим из одного огромного цельного венецианского стекла свинцовой окраски; так что лучи солнца и луны, проникая сквозь него, озаряли комнату зловещим, странным светом. Над верхней частью этого высокого окна вилась старая виноградная лоза, взбиравшаяся по массивным стенам башни.

Потолок из тёмного дуба поднимался высоким сводом и был украшен причудливой резьбой полуготического — полудруидического стиля. В центре этого мрачного свода висела на золотой цепи с длинными кольцами кадильница из того же металла, с мавританским узором и многочисленными отверстиями, расположенными так, что разноцветные огни беспрерывно выскальзывали, как змеи, то из одного, то из другого.

Оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе помещались в разных углах комнаты; здесь же находилось брачное ложе — в индийском стиле, низкое, чёрного дерева, резной работы, с балдахином, напоминавшим погребальный покров. Но главная фантазия заключалась, увы, в драпировках комнаты. Высокие, гигантские, даже непропорциональные стены были сплошь обиты плотной, тяжёлой тканью, падавшей широкими складками. Из той же ткани был ковёр, обивка кровати и оттоманок[82], балдахин и роскошные занавеси, отчасти закрывавшие окно. Ткань, богато затканная золотом, испещрена была арабесками в виде агатово-чёрных фигур, беспорядочно разбросанных. Но эти фигуры каза-

---

[82] Примечания: 82

Оттом*а*нка — мягкий и широкий диван без спинки.

лись арабесками, только когда их рассматривали с известной точки. С помощью приспособления, ныне очень распространённого, которое можно проследить до глубокой древности, они были сделаны так, что постоянно меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они казались в первую минуту просто уродливым узором, но впечатление это скоро исчезало, и, подвигаясь дальше, посетитель видел вокруг себя бесконечное шествие зловещих образов, подобных тем, которые зарождались в норманнских суевериях или в грешном сне монахов. Это сказочное действие усиливалось током воздуха, постоянно колебавшим завесы и придававшим всему отвратительную, беспокойную живость.

Вот в каком помещении, в каком брачном чертоге проводил я с леди Тремен счастливые первые месяцы нашего брака, проводил без всякой тревоги. Я не мог не заметить, что жена моя опасалась бурных порывов моего нервного характера, избегала меня и не питала ко мне особенно нежной страсти, но это доставляло мне скорее удовольствие, чем огорчение. Я сам ненавидел её адской, нечеловеческой ненавистью. Мои воспоминания уносились назад (о, с каким глубоким раскаянием!), к Лигейе, к ней, возлюбленной,

святой, прекрасной, погребённой. Я забывался в воспоминаниях о чистоте её, мудрости, возвышенности, о небесной природе её и страстной, боготворящей любви. Теперь мой дух пылал ещё сильнейшим пламенем, чем дух Лигейи.

В горячке грёз, порождённых опиумом (так как я почти постоянно находился под его влиянием), я громко призывал её в ночной тиши или днём в уединённых долинах, точно дикая страсть, возвышенная сила чувства, пожирающий жар моей тоски по усопшей могли вернуть её на жизненный путь, покинутый, — о, ужели навсегда ею покинутый?

Спустя месяц после нашей свадьбы леди Ровена поражена была внезапной болезнью, от которой оправлялась очень медленно. Лихорадка не давала ей покоя по ночам, и в тревожном полусне своём она говорила о звуках и шорохах в комнате, что я приписывал её расстроенному воображению или, быть может, влиянию сказочной обстановки. Наконец она стала выздоравливать и выздоровела. Но скоро новый, ещё более сильный приступ болезни заставил её вернуться на ложе страданий, и после этого нового приступа слабое тело её уже никогда не могло вполне оправиться.

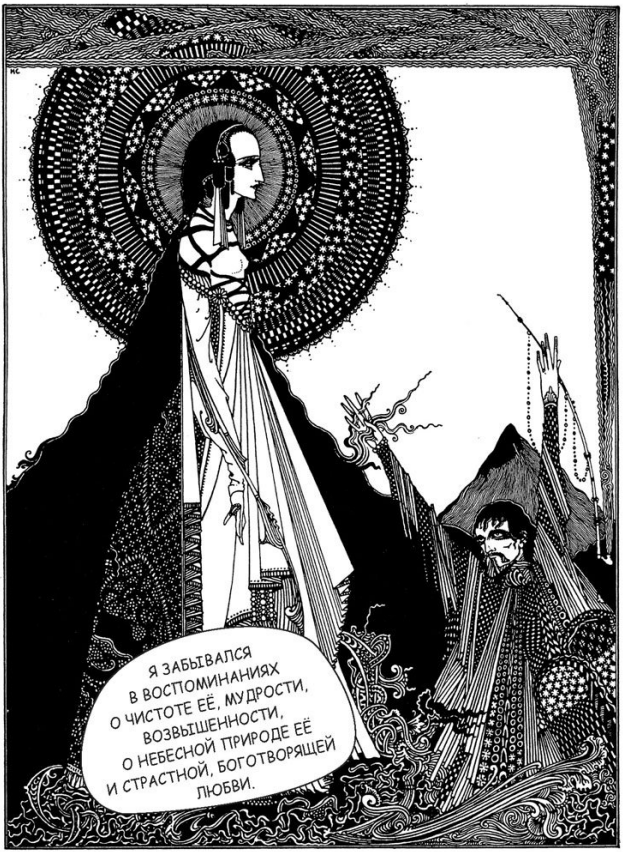
С течением времени припадки её и неожиданное возвращение их приняли угрожающий характер, как бы издеваясь над знаниями и опытностью врачей. С усилением этой возвратной болезни, укоренившейся в теле её так прочно, что человеческое искусство, по-видимому, не могло изгнать её, нрав её также заметно изменился: усилились раздражительность и боязливость. Теперь она ещё чаще говорила о звуках, слабых звуках и странных движениях среди драпировок комнаты.

Однажды ночью, в конце сентября, настойчивее, чем обыкновенно, старалась она обратить моё внимание на этот докучный предмет. Она только что очнулась от беспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха следил за её исхудалым лицом. Я сидел подле постели на индийской оттоманке. Она приподнялась и говорила шёпотом, с выражением глубокого убеждения, о звуках, которые она теперь слышит, а не о движениях, которые она теперь видит, а я не вижу. Ветер шелестел в завесах, и я старался убедить её (но признаюсь, и сам не вполне верил этому), что эти чуть слышные вздохи и лёгкие изменения фигур на стенах — естественное следствие движения воздуха. Но смертная

бледность, покрывшая лицо её, доказала бесплодность усилий моих. По-видимому, она готова была лишиться чувств, а поблизости не было слуг. Вспомнив, где стоит графин с лёгким вином, которое ей прописали врачи, я бросился за ним через комнату. Но когда я вступил в полосу света, падавшего от кадильницы, два поразительных обстоятельства привлекли внимание моё. Я почувствовал, что кто-то невидимый, но осязаемый прошёл мимо меня, и заметил на освещённом пространстве золототканого ковра тень, лёгкую, неясную тень ангела, как бы тень тени. Но, находясь под влиянием неумеренной дозы опиума, я не обратил внимания на эти явления и ни слова не сказал о них Ровене. Отыскав вино, я вернулся к постели и, наполнив бокал, поднёс его к губам изнемогавшей леди.

Впрочем, она уже оправилась и приняла от меня бокал, а я опустился на оттоманку, не спуская глаз с лица её. В эту минуту услышал я лёгкие шаги по ковру близ кровати, и мгновение спустя, когда Ровена подносила бокал к губам, я увидел или мне померещилось, что в него упали, точно из невидимого источника в воздухе, три или четыре крупные капли сверкающей рубиново-красной жидкости. Я видел это, Ровена не видела.

Она не задумываясь выпила вино, а я не стал говорить ей об этом странном явлении, решив, что оно было простым бредом моего расстроенного воображения, возбуждённого ужасом больной, опиумом и поздним часом.


Я ЗАБЫВАЛСЯ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
О ЧИСТОТЕ ЕЁ, МУДРОСТИ,
ВОЗВЫШЕННОСТИ,
О НЕБЕСНОЙ ПРИРОДЕ ЕЁ
И СТРАСТНОЙ, БОГОТВОРЯЩЕЙ
ЛЮБВИ.

Но я не мог не заметить, что вслед за падением рубиновых капель состояние жены моей стало быстро ухудшаться, так что на третью ночь слуги уже приготовляли к погребению тело её, а на четвёртую я сидел перед окутанным в саван трупом в той же сказочной комнате, которая принимала новобрачную. Дикие, рождённые опиумом видения, подобно теням, реяли в глазах моих. Беспокойным взором смотрел я на саркофаги по углам, на изменчивые фигуры завес, на разноцветные огни кадильницы над головой моей. Потом, вспомнив о странных явлениях той ночи, опустил глаза на освещённое пространство, где заметил лёгкие очертания тени. Теперь её не было, и, вздохнув с облегчением, я устремил глаза на бледную окоченелую фигуру, лежавшую на постели. Тут нахлынули на меня воспоминания о Лигейе, и в сердце моём пробудилась с неудержимою силой бурного потока несказанная скорбь, терзавшая меня, когда я увидел её в саване. Часы летели, а я, с сердцем, полным горьких воспоминаний о бесконечно любимой, я всё сидел, не сводя глаз с тела Ровены.

Около полуночи, а может быть, и раньше или позже, потому что я не следил за временем, тихое, слабое, но явственно слышное рыдание пробу-

дило меня от моей задумчивости. Я чувствовал, что оно доносилось с ложа — с ложа смерти. Я прислушался в агонии суеверного ужаса, но звук не повторился. Я напрягал зрение, стараясь уловить хотя бы малейшее движение тела, но оно не шевелилось. А между тем я не мог ошибаться. Я слышал звук, хотя слабый, и душа моя встрепенулась от этого звука. Я решительно и упорно уставился на тело. Прошло несколько минут, но ничего не случилось, что могло бы разъяснить эту загадку. Наконец ясно увидел я, что на щеках трупа и вдоль жилок опущенных век выступила краска, лёгкая, бледная, чуть зримая. В припадке несказанного ужаса, для которого нет слов в языке человеческом, я почувствовал, что сердце моё перестало биться и члены отнялись.

Но чувство долга вернуло мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились: Ровена жива. Необходимо было немедленно принять какие-нибудь меры, но башня находилась в части замка, удалённой от помещения слуг, мне некого было кликнуть, пришлось бы оставить комнату на несколько минут, а на это я не мог решиться. Я попробовал один привести её в чувство. Вскоре, однако, признаки жизни снова исчезли и румянец на щеках и на

веках угас, уступив место мраморной бледности, губы ещё более сжались и исказились зловещей гримасой смерти, кожа приобрела отвратительную ледяную скользкость, и снова труп окоченел. Я с ужасом отшатнулся от ложа и вновь предался страстным мечтам о Лигейе.

Прошёл час, и опять — Боже великий! возможно ли это? — опять услыхал я слабый звук, исходивший от ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук повторился; то был вздох. Бросившись к телу, я увидел — ясно увидел, — что губы его дрожат. Минуту спустя они разомкнулись, обнажив блестящий ряд жемчужных зубов. Теперь изумление боролось в душе моей с ужасом, который один переполнял её раньше. Я чувствовал, что в глазах моих темнеет, рассудок мешается, и только страшным усилием воли я принудил себя взяться за дело, к которому призывал меня долг. Румянец появился на щеках, на лбу, на шее Ровены; теплота разлилась по всему телу; я чувствовал даже слабое биение сердца. Леди была жива, и я с удвоенной решимостью принялся приводить её в чувство. Я тёр и смачивал виски и руки её, применял все меры, какие мог подсказать мне опыт и основательное знакомство с врачебной наукой. Всё было тщетно. Внезапно

румянец исчез, сердце перестало биться, губы приняли выражение, свойственное мёртвому, и спустя мгновение труп оледенел, посинел и скорчился. Я снова предался мечтам о Лигейе и снова — мудрено ли, что я дрожу, вспоминая об этом, — снова лёгкое рыдание донеслось до слуха моего. Но зачем подробно описывать ужасы этой ночи? Зачем рассказывать, как снова и снова, до самого рассвета, повторялась эта чудовищная игра оживления; как всякий возврат к жизни кончался возвратом к ещё более жестокой и неодолимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то невидимым врагом и как после каждой борьбы вид трупа странно изменялся. Тороплюсь кончить.

Ночь уже почти прошла, и мёртвая снова зашевелилась — и сильнее, чем прежде, хотя перед этим состояние трупа казалось ещё более безнадёжным, чем раньше. Я давно уже перестал бороться и двигаться и сидел, прикованный к оттоманке, беспомощная жертва вихря бешеных чувств, среди которых чувство невыразимого страха было, пожалуй, наименее ужасным, наименее потрясающим. Повторяю, тело зашевелилось, и сильнее, чем прежде. Румянец жизни вспыхнул ещё ярче на лице, члены ожили, и, если

бы не опущенные веки, не саван, придававший телу мертвенный вид, я мог бы подумать, что Ровена стряхнула наконец узы смерти. Но если я всё ещё сомневался, то всякое сомнение исчезло, когда, поднявшись с ложа, шатаясь, шагами нетвёрдыми, с закрытыми глазами и видом лунатика существо, закутанное в саван, вышло на середину комнаты.

Я не вздрогнул, не пошевелился, потому что рой неизъяснимых впечатлений, связанных с наружностью, ростом, осанкой этого видения, сразил меня, превратил в камень. Я не шевелился, я смотрел, не спуская глаз, на видение. Бессвязные, безумные мысли роились в уме моём. Неужели это живая Ровена была предо мною? Неужели это Ровена? Златокудрая, голубоокая леди Ровена Тревенион Тремен? Почему же, почему я сомневался в этом? Тяжёлая повязка давила губы её — разве это не губы леди Тремен? А щёки — на них цвели розы, как в полдень жизни её — да, без сомнения, эти щёки могли быть щеками леди Тремен. А подбородок с ямочками, как во дни её здоровья, — отчего бы ему не быть её подбородком? — да, но, значит, она выросла со времени своей болезни? Какое несказанное безумие овладело мной при этой мысли! Одним прыжком я

очутился у ног её! Она отшатнулась, освободила голову от страшного савана, который окутывал её, и в веющем воздухе комнаты разметались густыми прядями длинные-длинные волосы; они были чернее вороновых крыльев полночи! И медленно-медленно открылись глаза её.


...ТЕПЕРЬ Я УЖЕ НЕ МОГУ ОШИБИТЬСЯ: ВОТ ОНИ, ОГРОМНЫЕ, ЧЁРНЫЕ, ДИКИЕ ГЛАЗА МОЕЙ ПОГИБШЕЙ ЛЮБВИ — ЛЕДИ... ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!

— Так вот они наконец! — воскликнул я громким голосом. — Теперь я уже не могу ошибиться: вот они, огромные, чёрные, дикие глаза моей погибшей любви — леди… леди Лигейи!

Морелла

Αυτο χαθ' αυτο μεθ' αυτου μονο ειδες αιει ον.
(Сам, самим собою только, вечно один, и единственный.)

Платон «Sympos»

С чувством глубокой, но странной нежности смотрел я на мою подругу Мореллу. Когда случай свёл нас несколько лет тому назад, душа моя, с первой же встречи нашей, загорелась огнём, которого никогда раньше не знала; но это не был огонь Эроса, и я с горьким, мучительным чувством убедился, что не могу определить его странную сущность, его смутный пыл. Но мы встретились, и судьба связала нас перед алтарём, и я никогда не говорил о страсти, не думал о любви. Как бы то ни было, она избегала общества и, привязавшись ко мне одному, доставила мне счастье. Разве не счастье — удивляться, разве не счастье — мечтать?

Морелла обладала глубокими познаниями. Дарования её были незаурядного свойства, силы ума колоссальные. Я чувствовал это и во многих от-

ношениях сделался её учеником. Вскоре, однако, может быть, под влиянием своего пресбургского воспитания, она заставила меня углубиться в мистические произведения, которые считаются обыкновенно мусором ранней германской литературы. По непонятной для меня причине они были любимым и постоянным предметом её занятий, — которые с течением времени сделались и моими, просто в силу привычки и примера.

Если не ошибаюсь, мой рассудок не играл при этом самостоятельной роли. Или я мало себя знаю, — или мои воззрения вовсе не идеалистического характера, и никаких следов мистицизма нельзя заметить в моих поступках и мыслях. Убеждённый в этом, я отдался руководству жены и решительно вступил в круг её запутанных занятий. И когда, вчитываясь в запретные страницы, я чувствовал, что запретный дух загорается во мне, она брала мою руку своей холодной рукой и выискивала в пепле мёртвой философии несколько тихих странных слов, необычайный смысл которых огненными буквами запечатлевался в моём мозгу. И по целым часам я сидел подле неё, прислушиваясь к музыке её голоса, пока, наконец, его мелодия не окрашивалась ужасом, и тень ложилась на мою душу, и я дрожал, при-

слушиваясь к его слишком неземным звукам. И таким-то образом радость превращалась в страх и прекраснейшее становилось гнуснейшим, как Гинном сделался Геенной.

Бесполезно передавать точное содержание тех вопросов, которые, под влиянием упомянутых книг, сделались со временем единственной темой наших бесед с Мореллой. Для людей, знакомых с тем, что может быть названо теологической моралью, они и так понятны, а незнакомые с нею всё равно ничего не поймут. Дикий пантеизм Фихте, изменённая Παλιγγενεσία[83] пифагорейцев, а в особенности доктрина тождества, развитая Шеллингом, — вот темы, больше всего увлекавшие фантазию Мореллы. Мне кажется, Локк[84] правильно определяет так называемое индивидуальное тождество, говоря, что оно заключается в постоянно одинаковой сущности индивидуального разума. Мы называем личностью мыслящее существо, одарённое разумом и сознанием, которое всегда сопровождает мышление и делает

[83] Примечания: 83

Вторичное рождение *(греч.)*.

[84] Примечания: 84

Локк, Джон (1632–1704) — английский философ-просветитель, политический деятель, основоположник социально-политической доктрины либерализма.

нас нами самими, отличая от других мыслящих существ и доставляя нам индивидуальное тождество. Но principium individuationis, понятие о тождестве, которое со смертью остаётся или исчезает навеки, всегда представляло для меня особый интерес — не столько по связанным с этим понятием выводам, сколько по страстному отношению к ним Мореллы.

Но наступило время, когда таинственность моей жены стала угнетать меня, как колдовство. Я не мог выносить прикосновения её бледных пальцев, грудных звуков её музыкального голоса, блеска её печальных глаз. Она знала об этом, но не возмущалась; по-видимому, она снисходила к моей слабости или безумию и, улыбаясь, говорила, что таков рок. Кажется, она знала также о причине моей перемены — причине, неизвестной мне самому, но ни разу не намекнула на неё. Но она была женщина и увядала с каждым днём. Красные пятна появились на её щеках, голубые жилы вздулись на белом лбу. Бывали минуты, когда моё сердце разрывалось от жалости, но стоило мне взглянуть в её глубокие глаза, и душа моя омрачалась, и я испытывал головокружение, как тот, кто стоит на краю бездонной пропасти.

Нужно ли говорить, что я с страстным нетер-

пением ожидал смерти Мореллы. Я ожидал, но хрупкий дух цеплялся за свою бренную оболочку много дней, много недель, много томительных месяцев, так что мои измученные нервы одержали, наконец, верх над рассудком, и я бесился на эту отсрочку и полный адской злобы проклинал дни, часы и горькие минуты, которые, по-видимому, удлинялись, по мере того как угасала её нежная жизнь — точно тени умирающего дня.

Но в один осенний вечер, когда ветры покоятся в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Серый туман клубился над землёй, воды сияли тёплым блеском, а роскошная октябрьская листва в лесу отливала цветами радуги, упавшей с неба.

— Наступил день дней, — сказала она, когда я подошёл к ней, — день всех дней для жизни и для смерти. Чудный день для сынов земли и жизни, — и ещё более чудный для сынов неба и смерти!

Я поцеловал её в лоб.

— Я умираю, — продолжала она, — но я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда ты мог бы любить меня, — но ту, которую ты ненавидел при жизни,

ты будешь обожать по смерти.

— Морелла!

— Говорю тебе, я умираю. Но во мне таится залог привязанности — о, какой слабой! — которую ты питал ко мне, Морелле. И когда мой дух отлетит, будет жить ребёнок, твой ребёнок, и мой, Мореллы. Но дни твои будут днями скорби — скорби, которая долговечнее всех ощущений, как кипарис долговечнее всех деревьев. Ибо дни твоего счастья миновали: а радость не повторяется в жизни дважды, как розы Пестума не расцветают дважды в год. Ты не будешь наслаждаться жизнью, — но, забыв о миртах и виноградных лозах, будешь всюду влачить с собою свой саван, как мусульманин в Мекке.

— Морелла! — воскликнул я. — Морелла, как можешь ты знать об этом? — но она отвернулась, лёгкая дрожь пробежала по её членам, — и она умерла, и я не слыхал более её голоса.

Но, как и предсказала Морелла, ребёнок, которому она в смерти дала рождение, — который начал дышать лишь только она испустила последнее дыхание — ребёнок, дочь осталась в живых. И странно развивалась она духом и телом — вылитый портрет своей матери, — и я любил её такой пламенной любовью, какой, казалось

мне, нельзя любить кого бы то ни было из граждан земли.

Но лазурь этой чистой привязанности скоро омрачилась, и уныние, страх, скорбь заволокли её чёрной тучей. Я сказал, что ребёнок странно развивался духом и телом. Да, поразителен был быстрый рост её тела, но ужасен — о! ужасен — был шумный рой мыслей, осаждавших меня, когда я следил за её духовным развитием! Могло ли быть иначе, когда я ежедневно открывал в идеях ребёнка силу и зрелость ума взрослой женщины? когда уроки житейской опытности раздавались из уст младенца? когда мудрость или страсти зрелого возраста ежечасно светились в её больших, задумчивых глазах? Когда всё это стало очевидным для моих встревоженных чувств, когда я не мог более утаить от самого себя или заглушить впечатлений, от которых меня бросало в дрожь, — мудрено ли, что тогда страшные, смутные подозрения закрались мне в душу, и мысли мои с ужасом обратились к странным рассказам и поразительным теориям покойной Мореллы? Я укрыл от людских глаз существо, которое волею судеб был вынужден обожать, — и в тиши моего дома с мучительным беспокойством следил за всем, что касалось этого возлюбленного

существа.

И по мере того как уходили годы, а я день за днём смотрел на её небесное, кроткое, выразительное лицо, на её созревающие формы — мне день за днём открывались в ней новые и новые черты сходства с матерью, с печалью и смертью. С каждым часом сгущались эти тени сходства, становясь всё более законченными, более резкими, более зловещими. Не то меня смущало, что её улыбка напоминала улыбку матери, — пугало меня их полное тождество. И пусть бы глаза её походили на глаза Мореллы, — но их взгляд слишком часто проникал в глубину моей души, с особенным, странным, напряжённым, смущающим выражением глаз Мореллы. И в контурах высокого лба, и в локонах шелковистых кудрей, и в бледных пальцах, которые расправляли их, и в грустной музыке речей, — и главное! о, главное — в выражениях и фразах умершей на устах любимой и живущей я находил пищу для пожирающего беспокойства и ужаса, для червя, который не хотел умирать.

Так прошли два люстра[85] её жизни, — а моя дочь всё ещё не носила имени на земле. «Дитя

---

[85] Примечания: 85
Люстр — 5-летний период.

моё» и «радость моя» — вот названия, внушённые нежностью отца, а других людей она не встречала в своём строгом уединении. Имя Мореллы умерло вместе с нею. Я никогда не говорил с дочерью о матери: это было невозможно. Так в течение короткого периода своего существования она не получала никаких впечатлений из внешнего мира, кроме тех, которые обусловливались тесным кругом её жизни. Но в конце концов обряд крещения представился моей измученной и взволнованной душе как выход из ужасов моего существования. И у купели я колебался, какое имя дать ей. И много имён, означающих мудрость и красоту, имён древних и новых, имён моей родины и чуждых стран трепетали на моих губах, — много имён, означающих кротость, добро и счастье. Что же толкнуло меня потревожить память покойницы? Какой демон вырвал у меня из уст звуки, при воспоминании о которых вся моя кровь приливала к сердцу? Какой адский дух говорил в тайниках моей души, когда в тусклом полусвете, в безмолвии ночи я шепнул святому человеку имя — Морелла? Какой более чем адский дух исказил судорогой черты моего дитяти и покрыл их смертною тенью, когда, вздрогнув при этом едва слышном звуке, она обратила свои

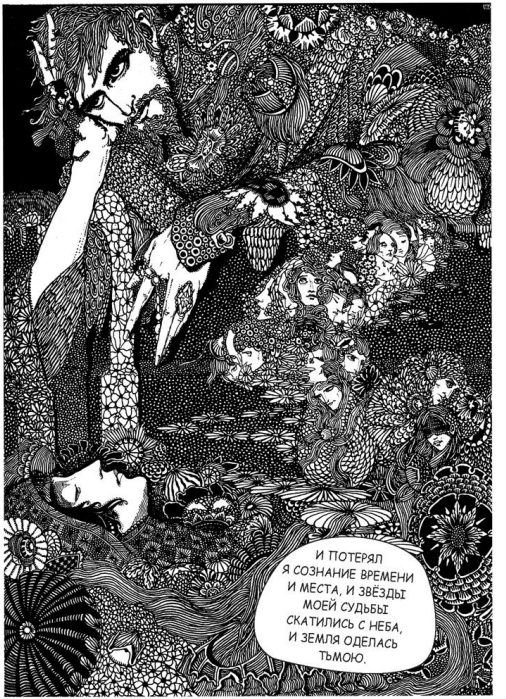
блестящие глаза к небу и, падая на чёрные плиты нашего фамильного склепа, отвечала:

— Я здесь!

Ясно, с холодной, спокойной отчётливостью прозвучали эти слова в моих ушах и, как растопленный свинец, шипя, проникли в мой мозг. Годы — годы пройдут, но воспоминание об этой эпохе — никогда! И хотя не чуждался я цветов и виноградной лозы, — но цикута[86] и кипарис осеняли меня днём и ночью. И потерял я сознание времени и места, и звёзды моей судьбы скатились с неба, и земля оделась тьмою, и её образы проходили мимо меня, как тени, и среди них я видел одну — Мореллу. Но она умерла; и своими руками зарыл я её в могилу; и смеялся долгим и горьким смехом, не находя следов первой в том склепе, где похоронил я вторую — Мореллу.

---

[86] Примечания: 86
Цикута — ядовитое травянистое растение.


И ПОТЕРЯЛ
Я СОЗНАНИЕ ВРЕМЕНИ
И МЕСТА, И ЗВЁЗДЫ
МОЕЙ СУДЬБЫ
СКАТИЛИСЬ С НЕБА,
И ЗЕМЛЯ ОДЕЛАСЬ
ТЬМОЮ.

Бочка Амонтильядо

Тысячу несправедливостей вытерпел я от Фортунато, как только умел, но, когда он осмелился дойти до оскорбления, я поклялся отомстить. Однако вы, знакомые с качествами моей души, не предположите, конечно, что я стал грозить. Наконец-то я должен быть отомщён; этот пункт был установлен положительно, но сама положительность, с которой он был решён, исключала мысль о риске. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно не отомщено, если мститель не даёт почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он.

Поймите же, что ни единым словом, ни каким-либо поступком я не дал Фортунато возможности сомневаться в моём доброжелательстве. Я продолжал, по обыкновению, улыбаться ему прямо в лицо, и он не чувствовал, что теперь я улыбался при мысли об его уничтожении.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях его следовало уважать

и даже бояться. Он кичился своим тонким пониманием вин. Немногие из итальянцев обладают способностью быть в чём-нибудь знатоками. По большей части их энтузиазм приспособлен к удобному случаю и к известному моменту, чтобы надуть какого-нибудь британского или австрийского миллионера. Что касается картин и драгоценных камней, Фортунато, подобно своим соотечественникам, был шарлатаном, но, раз дело шло о старых винах, искренность его была неподдельна. В этом отношении я не отличался от него существенным образом; я очень навострился в распознавании местных итальянских вин и всегда при первой возможности делал большие закупки.

Случилось, что в сумерки, под вечер, в самом разгаре карнавальных безумств, я встретился со своим другом. Он приветствовал меня сердечнейшим образом, так как, по-видимому, выпил изрядно. Он был одет шутом. На нём был плотно облегавший его наполовину полосатый костюм, а на голове высился колпак с бубенчиками. Как я рад был его видеть! Мне казалось, что я никогда не перестану трясти его руку.

Я сказал ему: «Ах, дорогой мой Фортунато, что за счастливая встреча! Как отлично выглядите

вы сегодня! Но я получил бочку вина, будто бы амонтильядо, и у меня на этот счёт сомнения».

— Как? — проговорил он. — Амонтильядо? Целую бочку? Быть не может! В разгар карнавала!

— У меня на этот счёт сомнения, — ответил я, — и я был настолько глуп, что заплатил сполна за вино как за амонтильядо, не посоветовавшись на этот счёт с вами. Вас нигде нельзя было найти, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

— Да, но я не уверен.

— Амонтильядо!

— Я должен разрешить сомнения.

— Амонтильядо!

— Так как вы куда-то приглашены, я пойду отыщу Лукези. Если кто-нибудь обладает тонким вкусом — это именно он. Он скажет мне…

— Лукези не может отличить амонтильядо от хереса.

— Представьте, а есть глупцы, которые говорят, что его вкус равняется вашему.

— Ну, идём!

— Куда?

— К вам, в подвалы.

— Нет, друг мой; я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы куда-то приглашены.

Лукези…

— Никуда я не приглашён, пойдём!

— Нет, друг мой. Вы никуда не приглашены, но я вижу, что вы страшно прозябли. В подвалах ужаснейшая сырость. Они выложены селитрой.

— А, пустяки! Пойдём! Стоит ли обращать внимание на холод… Амонтильядо! Вас надули; а насчёт Лукези могу сказать — он и хереса не отличит от амонтильядо.

Говоря таким образом, Фортунато завладел моей рукой. Я надел чёрную шёлковую маску и, плотно закутавшись в roquelaure[87], позволил ему увлечь себя к моему палаццо.

Никого из прислуги дома не было; все куда-то скрылись, чтобы хорошенько отпраздновать карнавал. Я сказал им, что вернусь домой не ранее утра, и строго-настрого приказал не отлучаться из дому. Этих приказаний, как я прекрасно знал, было совершенно достаточно, чтобы тотчас же по моём уходе все скрылись. Я вынул из канделябров два факела и, давши один Фортунато, направил его через анфиладу комнат до входа, который вёл в подвалы. Я пошёл вперёд по длинной витой лестнице и, оборачиваясь назад, просил его быть

---

[87] Примечания: 87
Карнавальный костюм домино.

осторожнее. Наконец мы достигли последних ступеней и стояли теперь на сырой почве в катакомбах фамилии Монтрезор.

Приятель мой шёл нетвёрдой походкой, и от каждого неверного шага звенели бубенчики на его колпаке.

— Ну, где же бочка? — спросил он.

— Дальше, — отвечал я, — но смотрите, вон какие белые узоры на стенах.

Он обернулся ко мне и посмотрел мне в глаза своими тусклыми глазами, подёрнутыми из-за опьянения.

— Селитра? — спросил он наконец.

— Селитра, — ответил я. — Давно ли вы стали так кашлять?

— Э! э! э! э! э! э! э! э! э! э! э! э! э! э! э! — Бедняжка несколько минут не мог ответить. — Ничего, — проговорил он наконец.

— Нет, — сказал я решительно, — пойдёмте назад; ваше здоровье драгоценно. Вы богаты, перед вами преклоняются, вас уважают, вас любят; вы счастливы, как я был когда-то. Вас потерять — это была бы большая потеря. Вот я — дело другое. Пойдёмте назад; вы захвораете, и я не хочу принимать на себя такую ответственность. Да кроме того, ведь Лукези…

— Довольно! — сказал он. — Кашель — это пустяки, я от него не умру. Кашель меня не убьёт.

— Верно, вот это верно! — отвечал я. — И правда, я не имел намерения беспокоить вас понапрасну, но вы должны были бы принять меры предосторожности. Вот медок, достаточно будет глотка, чтобы предохранить себя против сырости.

Я отбил горлышко у одной из бутылок, лежавших длинным рядом на земле.

— Выпейте-ка! — сказал я, предлагая ему вино.

Он устремил на меня косвенный взгляд и поднёс вино к губам. Затем, помедлив, он дружески кивнул мне головой, и его бубенчики зазвенели.

— Пью, — проговорил он, — за усопших, которые покоятся вокруг нас.

— А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Обширные подвалы, — проговорил он.

— Монтрезоры, — отвечал я, — представляли из себя семью обширную и многочисленную.

— Я забыл ваш герб.

— Громадная человеческая нога из золота на лазурном фоне; нога давит извивающуюся змею, которая своими зубами вцепилась ей в пятку.

— И девиз?

— Nemo te impune lacessit[88].

— Отлично, — проговорил он.

Вино искрилось в его глазах, и бубенчики звенели. Мысли мои тоже оживились; медок оказывал своё действие. Проходя мимо стен, состоящих из нагромождённых костей вперемежку с бочками и бочонками, мы достигли крайних пределов катакомб. Я остановился снова и на этот раз осмелился взять Фортунато за руку, повыше локтя.

— Смотрите, — проговорил я, — селитра всё увеличивается. Вон она висит, точно мох. Мы теперь под руслом реки. Капли сырости просачиваются среди костей. Уйдёмте, вернемтесь, пока не поздно. Ваш кашель…

— Это всё пустяки, — сказал он, — пойдёмте вперёд. Но сперва ещё один глоток вина. Где тут ваш медок?

Я взял бутылку Vin de Graves и, отбив горлышко, подал ему. Он осушил её всю сразу. Глаза его загорелись диким огнём. Он начал хохотать и бросил бутылку вверх с жестом, значения которого я не понял.

Я посмотрел на него с удивлением. Он повторил движение — очень забавное.

---

[88] Примечания: 88

Никто не оскорбит меня безнаказанно *(лат.)*.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — отвечал я.

— Так вы, значит, не принадлежите к братству?

— Как?

— Вы не вольный каменщик?

— Да, да, — проговорил я, — да, да!

— Вы? Не может быть! Вы — вольный каменщик?

— Каменщик, — отвечал я.

— Знак! — проговорил он.

— Вот! — отвечал я, высовывая небольшую лопату из-под складок своего roquelaure.

— Вы шутите! — проговорил он, отступая на несколько шагов. — Но давайте же ваше амонтильядо.

— Да будет так! — сказал я, пряча лопату под плащ и снова предлагая ему свою руку. Он тяжело опёрся на неё. Мы продолжали наш путь в поисках амонтильядо. Мы прошли целый ряд низких сводов, спустились, сделали ещё несколько шагов, опять спустились и достигли глубокого склепа, в нечистом воздухе которого наши факелы скорее тлели, нежели светили.


— ПЬЮ, — ПРОГОВОРИЛ ОН, — ЗА УСОПШИХ, КОТОРЫЕ ПОКОЯТСЯ ВОКРУГ НАС. — А Я ЗА ВАШУ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ.

В самом отдалённом конце склепа виднелся другой склеп, менее обширный. Стены его были окаймлены человеческими останками, нагромождёнными до самого свода, наподобие великих катакомб Парижа. Три стороны этого второго склепа были украшены таким же образом. С четвёртой же кости были сброшены, они в беспорядке лежали на земле, образуя в одном месте таким образом насыпь. В стене, освобождённой от костей, мы заметили ещё новую впадину, четыре фута в глубину, три в ширину и шесть или семь в вышину. По-видимому, она не была предназначена для какого-нибудь особого употребления, но представлялась промежутком между двумя огромными подпорами, поддерживающими своды катакомб, и примыкала к одной из главных стен, выстроенных из плотного гранита.

Напрасно Фортунато, поднявши свой оцепенелый факел, пытался проникнуть взглядом в глубину этой впадины. Слабый свет не позволял нам различить её крайние пределы.

— Идёмте, — сказал я, — вот здесь амонтильядо! А что касается Лукези…

— Он невежда, — прервал меня мой друг, неверными шагами устремляясь вперёд, между тем

как я шёл за ним по пятам. Вдруг он достиг конца ниши и, натолкнувшись на стену, остановился в тупом изумлении. Ещё мгновение — и я приковал его к граниту. На поверхности стены были две железные скобки, на расстоянии двух футов одна от другой в горизонтальном направлении. С одной из них свешивалась короткая цепь, с другой — висячий замок. Обвить Фортунато железными звеньями за талию и запереть цепь — было делом нескольких секунд. Он был слишком изумлён, чтобы сопротивляться. Вынув ключ, я отступил на несколько шагов из углубления.

— Проведите рукой по стене, — проговорил я, — вы не можете не чувствовать селитры. Действительно, здесь очень сыро. Позвольте мне ещё раз умолять вас вернуться. Нет? Ну, так я положительно должен оставить вас. Однако предварительно я должен выказать вам всё внимание, каким только могу располагать.

— Амонтильядо! — выкрикнул мой друг, ещё не успев оправиться от изумления.

— Точно, — ответил я, — амонтильядо.

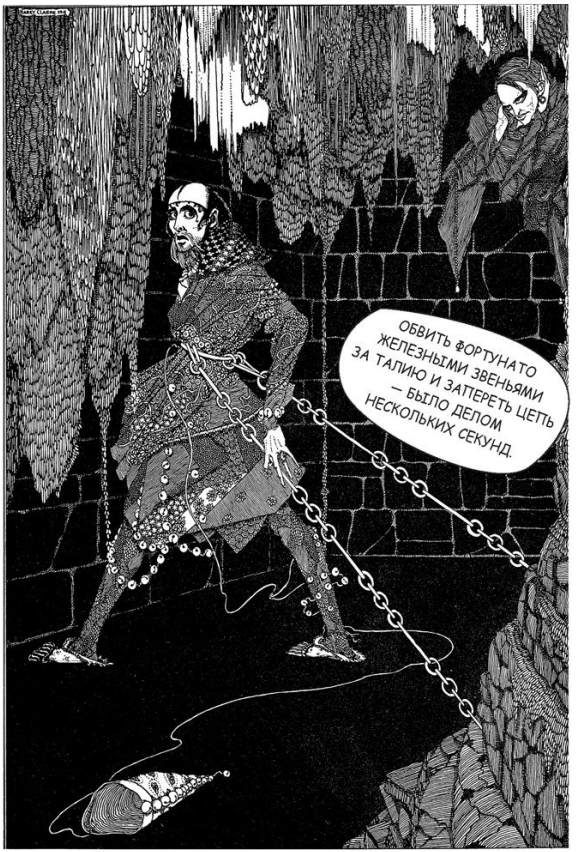
Произнеся эти слова, я приступил к груде костей, о которых говорил раньше. Отбросив их в сторону, я вскоре открыл некоторое количество песчаника и известкового раствора. С помощью

этих материалов, а также с помощью моей лопаты я живо принялся замуровывать вход в нишу.

Едва я окончил первый ряд каменной кладки, как увидел, что опьянение Фортунато в значительной степени рассеялось. Первым указанием на это был глухой, жалобный крик, раздавшийся из глубины впадины. То не был крик пьяного человека. Затем последовало долгое и упорное молчание. Я положил второй ряд камней, и третий, и четвёртый; и тогда я услышал бешеное потрясение цепью. Этот шум продолжался несколько минут, и, чтобы слушать его с большим удовлетворением, я на время прекратил свою работу и уселся на костях. Когда наконец резкое звяканье умолкло, я снова взялся за лопату и без помехи окончил пятый, шестой и седьмой ряд. Стена теперь почти восходила в уровень с моей грудью. Я сделал новую остановку и, подняв факелы над каменным сооружением, устремил несколько слабых лучей на фигуру, заключённую внутри.

Целый ряд громких и резких криков, внезапно вырвавшихся из горла прикованного призрака, со страшной силой отшвырнули меня назад. На миг меня охватило колебание — мной овладел трепет. Выхватив шпагу, я начал ощупывать ею

углубление; но минута размышления успокоила меня. Я положил свою руку на плотную стену катакомб и почувствовал полное удовлетворение. Я снова приблизился к своему сооружению. Я отвечал на вопли кричавшего. Я был ему как эхо — я вторил ему, — я превзошёл его в силе и продолжительности воплей. Да, я сделал так, и крикун умолк.


ОБВИТЬ ФОРТУНАТО ЖЕЛЕЗНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ ЗА ТАЛИЮ И ЗАПЕРЕТЬ ЦЕПЬ — БЫЛО ДЕЛОМ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД.

Была уже полночь, и работа моя близилась к концу. Я довершил восьмой ряд, девятый и десятый. Я окончил часть одиннадцатого и последнего; оставалось только укрепить один камень и заштукатурить его. Я поднимал его с большим усилием; я уже почти пригнал его к должному положению. Но тут из углубления раздался сдержанный смех, от которого дыбом встали волосы на моей голове. Потом послышался печальный голос, и я с трудом узнал, что он принадлежит благородному Фортунато. Голос говорил:

— Ха! ха! ха! хе! хе! Вот славная шутка — действительно, это шутка. Посмеёмся же мы над ней, когда будем в палаццо. Да! да! Славное винцо! Да! да!

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хе! хе! хе! Да, амонтильядо! Но как вы думаете, не поздно теперь? Пожалуй, нас ждут в палаццо — и синьора Фортунато, и все другие? Пойдём!

— Да, — сказал я, — пойдём.

— Во имя Бога, Монтрезор!

— Да, — сказал я, — во имя Бога!

Но на эти слова я тщетно ждал ответа. Мной овладело нетерпение. Я громко позвал:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я позвал опять:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я просунул один факел через отверстие, оставшееся незакрытым, и бросил его в углубление. Оттуда только зазвенели бубенчики. Сердце у меня сжалось — в катакомбах было так душно. Я поспешил окончить свою работу. Я укрепил последний камень; я заштукатурил его. Против новой кладки я воздвиг старую стену из костей. Прошло полстолетия, и ни один смертный не потревожил их. In pace reauiescat![89]

[89] Примечания: 89
Да почиет в мире! *(лат.)*

Вильям Вильсон

Что мне сказать? Что говорит грозная совесть – это привидение на моем пути?

Чемберлен «Фаронида»

Позвольте мне называть себя Вильямом Вильсоном. Чистая страница, лежащая передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем. Оно уже достаточно долго было предметом гнева, ужаса, отвращения моих ближних. Разве не разнёс ветер негодования столь беспримерный позор из края в край земли? О, отверженный из отверженных, не умер ли ты навсегда для земли, для её почестей, для её цветов, для её золотых надежд, и не повисла ли густая, мрачная, безгранная туча между твоими надеждами и небом?

Я не стал бы, если бы даже мог, излагать здесь, теперь, историю моих последних лет — моих несказанных бедствий и непростительных преступлений. Эта эпоха — последние годы моей жизни — была только завершением позора, начало и происхождение которого я намерен описать. Люди обыкновенно падают со ступеньки на ступеньку всё ниже. С меня же всякая добродетель

упала сразу, как платье с плеч. От простой испорченности я одним гигантским шагом перешёл к чудовищности Элагабала[90]. Какое обстоятельство, какое событие послужило толчком к этому несчастью, — об этом я и хочу рассказать. Смерть приближается, её тень умягчает мою душу. Готовясь перейти в долину сумрака, я жажду сочувствия — чуть не сказал, сожаления — моих ближних. Я желал бы убедить их, что был до известной степени рабом обстоятельств, не лежащих в пределах человеческой власти. Я желал бы, чтобы люди усмотрели в тех мелочах, о которых я сейчас расскажу, маленький оазис рока в пустыне заблуждений. Я желал бы, чтобы они поняли, — и они не могут не понять, что если и существовало раньше такое великое искушение, то человек никогда так искушаем не был и никогда так не падал. Не значит ли это, что он никогда не страдал? Да уж не жил ли я во сне? Не жертва ли я ужаснейшего и таинственнейшего из всех подлунных видений?

Я потомок рода, всегда отличавшегося своей фантазией и нервным темпераментом. Уже в раннем детстве проявились у меня эти наслед-

---

[90] Примечания: 90

Элагаб*ал* (также Гелиогаб*ал*) — римский император, прославившийся своей безнравственной жизнью.

ственные черты. С годами они обнаруживались всё резче и резче, причиняя немало беспокойства моим друзьям и неприятностей мне самому. Своенравный, необузданный в своих диких капризах, я был жертвой неудержимых страстей. Слабохарактерные и болезненные, как и я, родители почти ничего не могли сделать, чтобы подавить мои дурные задатки. Кое-какие неумелые и слабые попытки в этом направлении привели только к их полному поражению и моему вящему торжеству. С тех пор слово моё стало законом в семье, я в возрасте, когда детей водят на помочах, был предоставлен самому себе и стал господином своих поступков.

Мои первые воспоминания о школьной жизни связаны с большим ветхим зданием времён Елизаветы в туманной английской деревушке, где росло много громадных тенистых деревьев и где все дома были очень стары. Дремотой и спокойствием веяло от этого тихого старинного городка. Даже теперь, забывшись в мечтах, я чувствую освежающую прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат бесчисленных кустарников и снова вздрагиваю от неизъяснимо сладкого чувства при глубоких глухих звуках церковного колокола, тяжёлые удары которого так неожи-

данно разбивают тусклый и заснувший воздух.

Вспоминать о школе и школьной жизни — быть может, единственная радость, которую я моту испытывать в моём теперешнем положении. Удручённому несчастьем — увы, слишком реальным несчастьем! — мне простительно искать хотя бы слабого и мимолётного облегчения в воспоминаниях. Они обыкновенны, подчас смешны, но для меня имеют особое значение, так как связаны с временем и местом, где я впервые услышал зов судьбы, так безжалостно поразившей меня впоследствии. Обратимся же к воспоминаниям.

Как я уже сказал, дом был старинной и неправильной постройки. Обширная усадьба окружалась высокой и плотной кирпичной стеной со слоем извести и битого стекла наверху. Эта стена, напоминавшая острог, была границей наших владений; за неё мы выходили только три раза в неделю: в субботу вечером, когда нам разрешалось под надзором двух надзирателей прогуляться всем вместе по соседним полям, и дважды в воскресенье, когда мы таким же порядком шли к утренней и вечерней службе в приходскую церковь. Директор школы был пастором этой церкви. С каким глубоким чувством изумления и смущения смотрел я на него

из нашего уголка на хорах, когда он торжественной, мерной поступью поднимался на кафедру! Этот почтенный муж с благосклонным взором, в пышном облачении, в громадном, напудренном, завитом парике, — неужели это тот самый господин с кислой физиономией, в запачканном платье, с линейкой в руках, так свирепо приводящий в исполнение драконовские законы школы? О, великий парадокс — чудовищно нелепый и неразрешимый!

В массивной стене чернели ещё более массивные ворота. Они были обиты железными брусьями и усажены железными остриями. Что за мрачный вид! Они открывались только три раза в неделю для вышеупомянутых путешествий на прогулку и в церковь: и в визге их мощных петель ощущалась тайна, наводившая на глубокие размышления.

Ограда была неправильной формы с более или менее обширными выступами. Три или четыре самых обширных служили местом наших прогулок и игр. Они представляли площадку, усыпанную мелким гравием. Я хорошо помню, что тут не было ни деревьев, ни скамеек. Без сомнения, эта площадка находилась позади дома. К переднему фасаду примыкало место, усаженное

буксом и другими кустарниками; но в этот священный уголок мы попадали очень редко; разве случалось проходить через него при поступлении или окончательном выходе из школы или в рождественские и летние каникулы, когда, полные веселья, мы разъезжались к родным или знакомым. Но дом — что за любопытное старое здание! Мне он казался настоящим волшебным дворцом! Не было конца его закоулкам, его непонятным пристройкам! Никогда нельзя было решить, в котором из двух его этажей находишься. Переходя из комнаты в комнату, нужно было всякий раз спускаться или подниматься ступеньки на три, на четыре. Бесчисленные боковые пристройки так изгибались и перепутывались, что наше представление о доме в целом сливалось с нашим представлением о бесконечности. В течение моего пятилетнего пребывания в школе я никогда не мог решить с точностью, в какой части здания находится спальня, отведённая для меня и других восемнадцати или двадцати школьников.

Самая большая комната в доме — мне всё кажется, что и в целом свете, — была классная: длинная, узкая, низенькая зала с остроконечными готическими окнами и дубовым потолком. В отдалённом и наводящем ужас углу её находи-

лась квадратная загородка — sanctum[91] нашего директора, достопочтенного доктора Бренсби, — с массивной дверью. Мы бы скорее умерли par peine forte et dure[92], чем решились отворить её в отсутствие доктора. В других углах находились две подобные же загородки, внушавшие нам гораздо меньше почтения, но всё-таки немалый страх. Одна из них была кафедра «классики», другая — «английского языка и математики». По всей комнате были рассеяны в беспорядке скамьи и пюпитры — чёрные, старые, изъеденные временем, заваленные растрёпанными книгами и до того изрезанные начальными буквами, целыми фамилиями, уродливыми фигурами и тому подобными образчиками работы перочинного ножа, что совершенно утратили свою первоначальную форму. Большая кадка с водой помещалась на одном конце комнаты, а чудовищных размеров колокол — на другом.

Замкнутый в стенах этой почтенной академии, — но отнюдь не изнывая от скуки или отвращения, — я провёл годы третьего люстра моей жизни. Творческий мозг ребёнка не нуждается

---

[91] Примечания: 91
Святилище *(лат.)*.

[92] Примечания: 92
Страшная и мучительная смерть *(франц.)*.

во внешнем мире или внешних впечатлениях для своей работы и деятельности, и томительное с виду однообразие школьной жизни давало мне более сильные ощущения, чем роскошь в молодости или преступление в зрелые годы. Но, должно быть, первые стадии моего умственного развития представляли много особенностей, много outre[93]. Впечатления от событий раннего детства редко сохраняются в зрелом возрасте. Всё подёрнуто серой тенью — всплывают только слабые, отрывочные воспоминания пустых радостей и воображаемых страданий. У меня не так. Должно быть, мои детские ощущения были сильны, как ощущения взрослого человека, потому что тогдашние впечатления врезались в мою память глубоко, живо и прочно, словно надписи на карфагенских медалях.

А между тем как незначительны эти воспоминания на деле: укладывание спать вечером, уроки, зубренье, периодические отпуска, экзамены, рекреационный двор с его играми, ссорами, дрязгами — вот что в силу какого-то давно забытого волшебства являлось источником всяких чувств, целым миром происшествий, разнообраз-

---

[93] Примечания: 93
Чрезмерный *(франц.)*.

ных волнений, страстного возбуждения.

«O, le bon temps, que ce siecle de fer!»[94]

Мой пылкий, восторженный, властный характер быстро выделил меня в среде моих товарищей и мало-помалу, но совершенно естественно, дал мне влияние над всеми школьниками, не слишком превосходившими меня возрастом, над всеми — за одним исключением. Этим исключением оказался ученик, который, не будучи моим родственником, носил те же самые имя и фамилию, что, впрочем, не представляет ничего странного: несмотря на древнее происхождение, моя фамилия — одно из тех распространённых имён, которые, кажется, с незапамятных времён были общим достоянием толпы. Я потому и назвал себя в этом рассказе Вильямом Вильсоном — это вымышленное имя немногим отличается от действительного. Мой однофамилец, единственный из всех учеников, вздумал тягаться со мною в науках, в играх и ссорах на рекреационной площадке, не верил моим утверждениям, не подчинялся моей воле, словом, ни в каком отношении не признавал моего авторитета. Если есть на земле деспотизм в полном смысле слова,

---

[94] Примечания: 94

О, доброе время, этот железный век! *(франц.)*

так это деспотизм школьника над менее энергичными товарищами.

Непокорность Вильсона была для меня источником величайших неприятностей; несмотря на презрение, с которым я перед другими относился к нему и его претензиям, втайне я чувствовал, что боюсь его, и не мог не видеть в равенстве, которое ему удавалось так легко сохранять по отношению ко мне, доказательство превосходства, — недаром же мне приходилось напрягать все свои силы только для того, чтобы не быть побеждённым. Но это превосходство — даже это равенство — замечал только я, наши товарищи, в силу непонятного ослепления, по-видимому, ничего не подозревали. В самом деле, его соперничество, его упорство и в особенности его наглое и грубое вмешательство в мои распоряжения имели ядовитый, но чисто личный характер. По-видимому, ему было чуждо как честолюбие, так и страстная энергия ума, заставлявшие меня соперничать с ним. В своём соперничестве он точно руководился капризным желанием уязвить, ошеломить или оскорбить меня лично; хотя по временам я не мог не заметить — с чувством удивления, досады и унижения — какую-то неуместную ласковость манер, соединявшую-

ся у него с оскорблениями, насмешками или противоречиями. Я мог объяснить это странное поведение только вульгарным самодовольством, принимающим покровительственный вид.

Может быть, эта последняя черта в характере Вильсона, в связи с одинаковостью фамилии и тем случайным обстоятельством, что мы поступили в школу в один и тот же день, заставила старших учеников школы считать нас братьями. Старшие вообще не особенно интересуются делами младших. Но если бы мы были братьями, то лишь близнецами, так как впоследствии, оставив школу доктора Бренсби, я случайно узнал, что мой однофамилец родился девятнадцатого января 1813 года. Действительно странное совпадение, так как и я родился в тот же день.

Странно, что, несмотря на постоянные неприятности, причиняемые мне соперничеством Вильсона и его несносной страстью противоречить, я решительно не мог возненавидеть его. Разумеется, между нами происходили ежедневные стычки, в которых, уступая мне пальму первенства, он тем или иным образом давал понять, что, собственно говоря, она принадлежит ему; но моя гордость и его достоинство не позволяли нам заходить дальше слов, а вместе

с тем многие родственные черты в наших характерах возбуждали во мне чувство, которому только наши острые взаимные отношения мешали превратиться в дружбу. Трудно описать или определить мои действительные чувства к нему. Они были изменчивы и смешаны; страстность — однако не ненависть; уважение, почтение с примесью страха и несказанное любопытство. Нужно ли говорить, что я и Вильсон были неразлучны?

Эта ненормальность наших отношений придавала всем моим нападениям на него (а их было много, явных и тайных) скорее характер насмешливых шуток, чем серьёзной и решительной вражды. Но мои насмешки часто не попадали в цель, и задуманный хотя бы очень искусно план не удавался: в характере моего однофамильца было много того несокрушимого и холодного спокойствия, которое, упиваясь собственным остроумием, неуязвимо для чужого и решительно не поддаётся насмешке. Я нашёл у Вильсона только одно слабое место, зависевшее от физического недостатка, которое всякий противник, менее истощивший свои средства борьбы, наверное, пощадил бы: мой соперник, вследствие какого-то особого устройства голосовых связок,

мог говорить только весьма тихим шёпотом. Я не замедлил воспользоваться жалким преимуществом, которое давал мне этот недостаток. Вильсон не оставался в долгу, и одна из его обычных шуток в особенности досаждала мне. Как он догадался, что этот пустяк будет раздражать меня, я понять никогда не мог, — но, догадавшись, он не преминул воспользоваться своим открытием. Я всегда чувствовал отвращение к своей фамилии и вульгарному, чтобы не сказать — плебейскому, имени. Это имя резало мне ухо, и когда, в день моего поступления, явился в школу второй Вильям Вильсон, я рассердился и на него и ещё более возненавидел самое имя за то, что его носит посторонний, который вечно будет со мной и которого, как водится в школах, вечно будут смешивать со мной.

Зародившееся таким образом неприятное чувство усиливалось каждый раз, когда обнаруживалось новое моральное и физическое сходство между мною и моим соперником. Я ещё не знал тогда, что мы родились в один и тот же день, но я видел, что мы одинакового роста и удивительно похожи друг на друга фигурой и чертами лица. Меня раздражало также распространившееся в старших классах убеждение, что мы родственни-

ки. Словом, ничто так не могло расстроить меня (хотя я всячески скрывал это), как намёк на какое-либо сходство в нашей биографии, наружности, складе ума. Впрочем, я не видел, чтобы (если не считать слухов о нашем родстве) это сходство служило предметом чьих-либо разговоров или даже замечалось нашими товарищами. Что Вильсон замечал его, как и я, было ясно; но что он сумел найти в этом обстоятельстве богатый источник шуток по моему адресу, — можно приписать только его необычайной проницательности.

Его система состояла в передразнивании моих слов и действий, и он исполнял это мастерски. Скопировать мою одежду было нетрудно; мою походку и манеры он также перенял быстро и, несмотря на свой физический недостаток, сумел подделаться даже под мой голос. Разумеется, он не мог передать его звука, но интонацию перенял в совершенстве; и его обычный шёпот был эхом моего голоса.

Как жестоко терзал меня этот двойник (потому что его нельзя было назвать карикатурой), — я и передать не в силах. Единственным утешением для меня было то, что никто не замечал этого передразнивания, и только я один понимал многозначительные и саркастические улыбки моего

однофамильца. Довольный своей выдумкой и произведённым на меня впечатлением, он лишь втихомолку посмеивался и пренебрегал возможным успехом этой остроумной шутки перед толпой. Каким образом остальные ученики не подметили его планов, не обратили внимания на их исполнение, не приняли участия в его насмешках, оставалось для меня загадкой в течение многих мучительных месяцев. Может быть, причиной тому была постепенность, медленное усиление подражания или, что вернее, мастерство подражателя, который, оставляя в стороне мелочи (а их только и замечают дюжинные наблюдатели), схватывал лишь общий характер, доступный моему наблюдению и возбуждавший мою досаду.

Я уже не раз говорил о покровительственном тоне, который он принимал по отношению ко мне, и о постоянном вмешательстве в мои дела. Вмешательство часто принимало ненавистную форму совета — совета, высказанного не прямо, а намёком, обиняком. Я относился к этому с отвращением, и оно возрастало с годами. Но теперь, после стольких лет, я должен отдать справедливость моему противнику: намёки его никогда не имели целью склонить меня к ошиб-

кам и заблуждениям, свойственным незрелому возрасту и неопытности; нравственное чувство его — если не таланты и житейская мудрость — было развито тоньше, чем у меня; и, может быть, я был бы ныне лучшим, а следовательно, и более счастливым человеком, если бы пореже отвергал советы, высказанные этим значительным шёпотом, который я так пылко ненавидел и так злобно осмеивал.

Этот неизменный контроль надо мной доводил меня до исступления, и я всё с большим и большим раздражением относился к его, как мне казалось, невыносимому нахальству. Я говорил, что в первые годы нашего знакомства мои чувства к нему легко могли бы превратиться в дружбу; но в течение последних месяцев моего пребывания в училище, — хотя его приставания в это время значительно ослабели, — моё отношение к нему в такой же мере приблизилось к ненависти. Однажды он, кажется, заметил это и с тех пор начал избегать меня или делать вид, что избегает.

Как раз около этого времени, — если не обманывает память, — в одной крупной ссоре, когда он, противно своей природе, разгорячился до того, что стал говорить и действовать напрямик,

мне почудилось в его тоне, в его наружности нечто такое, что сначала поразило меня, а потом глубоко заинтересовало, пробудив в моей душе смутное ощущение, будто мы уже встречались с этим человеком — когда-то давно, в бесконечно далёкие времена.

Ощущение это, впрочем, исчезло так же быстро, как явилось, и я упоминаю о нём лишь для того, чтобы отметить день последнего разговора с моим странным однофамильцем.

В громадном старом доме с его бесчисленными закоулками было несколько больших комнат, сообщавшихся между собой и служивших спальнями для учеников. Было также (что вполне естественно при странной распланировке здания) множество маленьких комнаток и клетушек, которые изобретательная экономия доктора Бренсби тоже превратила в спальни, хотя в этих чуланах могло помещаться лишь по одному человеку. Одну из таких клетушек занимал Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года школьной жизни и тотчас после упомянутой выше ссоры, ночью, когда все спали, я встал с постели и с лампой в руках пробрался по лабиринту узких коридоров к спальне моего соперника. Я давно уже обдумывал одну из тех злобных шуток,

которые до сих пор не удавались мне. Теперь я решился привести в исполнение мой план и дать сопернику почувствовать всю силу моей злобы. Добравшись до его комнатки, я вошёл без шума, оставив лампу, прикрытую колпаком, за дверьми. Я прислушался, войдя, к его спокойному дыханию. Убедившись, что он спит, я вернулся в коридор, взял лампу и снова подошёл к его постели. Она была закрыта занавесками, я спокойно, не торопясь, их раздвинул; яркий свет лампы упал на спящего, мои глаза в ту же минуту устремились на его лицо. Я глядел на него, и страшное, ледяное чувство охватило меня. Колени дрожали, беспредметный, невыносимый ужас охватил мою душу. Задыхаясь, я ещё приблизил лампу к его лицу. Неужели это черты Вильяма Вильсона? Я видел его черты, но я дрожал как в лихорадке, мне казалось, что это не он. Что же поразило меня до такой степени? Я смотрел — и тысячи бессвязных мыслей проносились в моей голове. Не таким, не таким он являлся в обычное время. То же имя, те же черты лица, тот же день поступления в училище, затем его нелепое и бессмысленное подражание моей походке, моему голосу, моим привычкам и моим манерам… Возможно ли, чтобы то, что я теперь видел, было

простым результатом этого передразниванья? Поражённый ужасом, дрожа, я погасил лампу, тихонько удалился из комнаты — и из школы, с тем чтобы никогда не возвращаться в неё.

Проведя несколько месяцев дома в ленивой праздности, я поступил в Итон. Этого короткого промежутка времени было довольно, чтобы ослабить мои воспоминания о школе доктора Бренсби или, по крайней мере, существенно изменить ощущения, с которыми я вспоминал о ней. Трагедии, драмы больше не было. Я сомневался теперь в собственных чувствах, и если вспоминал иногда о своём последнем приключении, то лишь для того, чтобы подивиться человеческому легковерию и посмеяться над живостью моего воображения. Это скептическое состояние духа поддерживалось образом моей жизни в Итоне. Безумный разгул, которому я предался быстро и без оглядки, смыл все воспоминания прошлого, потопил все глубокие или серьёзные впечатления, оставив только пустые и ничтожные.

Не стану описывать моего жалкого беспутства, доходившего до прямого вызова закону, хотя мне удавалось обходить бдительность итонских властей. Три года минули для меня без всякой пользы, укоренив только привычку к пороку

да значительно прибавив мне росту; однажды, после целой недели беспутного разгула, я пригласил небольшую компанию самых отчаянных студентов на тайную пирушку. Мы сходились всегда поздно вечером, так как наша гульба неизменно продолжалась до утра. Вино лилось рекою, немало было и других, более опасных развлечений, — восток уже посерел, а у нас ещё стоял пир горой. Разгорячённый вином и картами, я собирался провозгласить крайне нечестивый тост, но вдруг внимание моё было привлечено приотворившейся дверью и тревожным голосом слуги. Он объявил, что какой-то человек требует меня по делу, по-видимому, очень спешному.

В моём возбуждённом состоянии это неожиданное посещение скорее развлекло, чем удивило меня. Пошатываясь, я вышел в переднюю. В ней не было лампы, она освещалась только слабым светом наступающего утра, чуть брезжившим в полукруглое окно. Переступив через порог, я заметил фигуру молодого человека приблизительно моего роста, в белом утреннем костюме, сшитом по тогдашней моде, таком же, какой был в эту минуту на мне. Я не мог рассмотреть его лица. Но едва я вошёл, он бросился ко мне, нетерпеливо схватил меня за руку и шепнул мне

на ухо: «Вильям Вильсон!»

Я отрезвел в то же мгновение.

В манерах этого незнакомца, в дрожащем пальце, которым он грозил мне, было что-то ошеломившее меня, но не этим я был так страшно взволнован. Торжественность, выразительность этого странного, низкого, шипящего голоса и, главное, характер, интонация этих немногих, простых, знакомых, произнесённых шёпотом слов разом вызвали тысячи смутных воспоминаний давно минувшего времени и поразили мою душу, точно удар гальванической батареи. Прежде чем я успел очнуться, он исчез.

Этот случай оказал сильное, но быстро изгладившееся действие на моё расстроенное воображение. В течение нескольких недель я старался разобраться в случившемся, предавался угрюмым и туманным размышлениям. Я не мог не узнать странного субъекта, который упорно вмешивался в мои дела и надоедал мне двусмысленными советами. Но кто и что такое этот Вильсон, откуда он взялся, чего ему нужно? Ни одного из этих пунктов я не мог выяснить; узнал только, что какое-то семейное несчастье заставило его покинуть школу доктора Бренсби в самый день моего бегства. Впрочем, я скоро

забыл о нём, поглощённый предстоявшим мне переездом в Оксфорд, куда я вскоре и поступил. Нерасчётливое тщеславие моих родителей снабдило меня такими средствами, что я мог вести там роскошную жизнь, уже близкую моему сердцу, — жизнь безумной расточительности в обществе высокомернейших наследников первых богачей Великобритании.

При таких условиях моя натура развернулась вполне, в безумии разгула я пренебрегал даже элементарными требованиями приличия. Но было бы нелепо описывать подробно мои похождения. Довольно сказать, что я заткнул за пояс самых отчаянных бездельников и как герой множества новых безумств значительно увеличил список пороков, обычных в самом распущенном из европейских университетов.

Трудно поверить: я уже до того опустился, до того утратил достоинство джентльмена, что стал якшаться с самым низменным сортом профессиональных игроков, перенял их приёмы и пользовался ими для увеличения моих доходов за счёт простаков-товарищей. Это факт, однако, и самая чудовищность подобного поведения, немыслимого для мало-мальски порядочного человека, был главной, если не единственной,

причиной его безнаказанности. Кто из беспутных моих товарищей не усомнился бы в своих собственных чувствах, прежде чем заподозрить в подобном поведении весёлого, честного, щедрого Вильяма Вильсона — благороднейшего и великодушнейшего из студентов Оксфорда, чьи безумства (говорили его прихлебатели) — только увлечения юности и необузданной фантазии, ошибки — только неподражаемое своенравие, а худший из пороков — только беззаботная и блестящая эксцентричность?

Два года я с успехом подвизался на этом поприще, когда поступил в университет молодой аристократ parvenu[95] Глендиннинг, богатый — гласила молва — как Крез. Я скоро убедился, что он очень недалёкий малый, и, разумеется, наметил его в качестве подходящего субъекта для моих целей. Я часто приглашал его поиграть в карты и, как водится у шулеров, проигрывал порядочные суммы, чтобы вернее заманить его в мои сети. Наконец, подготовив почву, я встретился с ним (заранее решив, что эта встреча будет окончательной и решительной) в помещении одного студента (мистера Престона), который

---

[95] Примечания: 95
Выскочка *(франц.)*.

хорошо знал нас обоих, но, надо ему отдать справедливость, совершенно не подозревал о моём замысле. Желая обойти богача получше, я искусно напросился к мистеру Престону на вечер и позаботился, чтобы карты явились случайно, по просьбе самого Глендиннинга. Словом, я не упустил ни одной из низких хитростей, столь неизменных в подобных случаях; можно только удивляться, что ещё не перевелись дураки, которые им верят.

Мы засиделись далеко за полночь, и в конце концов мне удалось устроить так, что Глендиннинг остался моим единственным противником. Игра была моя любимая: écarté[96]. Остальная компания, заинтересованная нашей крупной игрой, бросила карты и столпилась вокруг нас. Parvenu, которого мне удалось незаметным образом напоить в начале вечера, тасовал, сдавал, бросал карты с каким-то судорожным волнением, которое я только отчасти мог объяснить действием вина. Проиграв мне в самое короткое время значительную сумму, он залпом выпил стакан портвейна и сделал то, чего я давно ожидал: предложил удвоить и без того огромную

---

[96] Примечания: 96
Экарте — вид карточной игры *(франц.)*.

ставку. Я согласился — с неохотой, очень искусно разыгранной, с кажущейся досадой — и лишь после того, как мой отказ вызвал с его стороны несколько резкостей. Результат доказал только, как основательно жертва запуталась в моих сетях: не прошло часа, как проигрыш учетверился. Лицо его, давно утратившее багровую окраску, вызванную вином, теперь, к моему изумлению, покрылось страшной бледностью. Я говорю: к моему изумлению. Мне наговорили бог знает чего о несметном богатстве Глендиннинга, и я был в полной уверенности, что его проигрыш, хотя и весьма значительный, не может сколько-нибудь серьёзно расстроить его и так страшно взволновать. В первую минуту я готов был объяснить его состояние действием вина и скорее для того, чтобы поддержать себя в глазах товарищей, чем из какого-либо доброго побуждения, собирался решительно потребовать прекращения игры. Но отрывочные замечания моих товарищей и отчаянное восклицание Глендиннинга дали мне понять, что я разорил моего партнёра, и притом при обстоятельствах, которые сделали его предметом сожаления всех окружающих и должны были обезоружить даже его врагов.

Не берусь описать своё состояние. Жалкое по-

ложение моей жертвы смутило всех; воцарилось глубокое молчание, и я чувствовал, что мои щёки горят от гневных и негодующих взглядов наиболее порядочных из гостей. Признаюсь даже, что невыносимая тяжесть на мгновение свалилась с моего сердца при внезапном и необычайном перерыве, о котором сейчас расскажу. Большие тяжёлые двери распахнулись так порывисто, что все свечи в комнате разом, точно по волшебству, погасли. Мы лишь увидели, что в комнату вошёл какой-то незнакомец, приблизительно моего роста, закутанный в шубу. Но тут наступила темнота, и мы могли только чувствовать, что он стоит среди нас. Прежде чем кто-нибудь из нас успел опомниться от изумления, мы услышали голос незнакомца.

— Джентльмены, — сказал он низким, тихим, слишком хорошо знакомым мне шёпотом, звук которого потряс меня до мозга костей, — джентльмены, я не стану извиняться перед вами, я только исполняю свой долг. Вы, без сомнения, недостаточно знаете человека, который сегодня вечером выиграл в ecarte значительную сумму у лорда Глендиннинга. Я укажу, каким образом вы можете получить о нём необходимые сведения. Потрудитесь осмотреть подкладку его обшлага на

левом рукаве и заглянуть в его поместительные карманы.

Пока он говорил, стояла такая тишина, что муху было бы слышно. Кончив, он исчез так же внезапно, как появился. Могу ли, решусь ли описать мои чувства? Нужно ли говорить, что я испытывал все ужасы адской муки?

Но мне некогда было размышлять. Множество рук схватили меня, свечи были тотчас зажжены. Начался обыск. За обшлагом оказались фигуры, важные для écarté, в карманах несколько колод fac-simile[97] тех, которые употреблялись в нашей игре, с единственным различием: мои принадлежали к типу, известному под техническим названием arrondees[98]: онёры, слегка выпуклые на углах, простые карты, слегка выпуклые по краям. При таких колодах обманутый снимает, по принятому обычаю, вдоль колоды и неизменно даёт своему противнику онёра, а тот, снимая поперёк, не даёт ничего.

Самый бешеный взрыв негодования подействовал бы на меня не так ужасно, как презрительное молчание и саркастическое спокойствие, ко-

---

[97] Примечания: 97
Точное воспроизведение, копия *(лат.)*.

[98] Примечания: 98
Округлённые *(франц.)*.

торым сопровождалось изобличение моих плутней.

— Мистер Вильсон, — сказал хозяин, толкнув ногой великолепную шубу. — Мистер Вильсон, это ваша собственность (погода стояла холодная, и, отправляясь в гости, я надел шубу). Полагаю, что нам не нужно более (при этом он с презрением взглянул на дорогой мех) искать доказательств вашего искусства. Довольно с нас. Надеюсь, вы сами сочтёте необходимым оставить Оксфорд — и, во всяком случае, оставить немедленно мою комнату.

Раздавленный, смешанный с грязью, я, по всей вероятности, ответил бы на эту ядовитую речь личным оскорблением, если бы всё моё внимание в эту минуту не было привлечено поразительным фактом. Моя шуба была из редкого, дорогого меха почти баснословной цены, фантастического покроя, изобретённого мною самим, так как я питал нелепое пристрастие к подобного рода франтовству. И вот, когда мистер Престон протянул мне шубу, подняв её с пола близ дверей, я заметил с изумлением, доходившим до ужаса, что моя уже висит у меня на руке (должно быть, я поднял её машинально), а та, которую мне предлагают, — её точная, до мельчайших подробностей, копия.

Я очень хорошо помнил, что странный человек, так безжалостно выдавший меня, был в шубе, а из нашей компании ни у кого, кроме меня, таковой не было. Опомнившись, я взял ту, которую протягивал мне мистер Престон, накинул её незаметно на свою и вышел с презрительной усмешкой, а на рассвете бежал из Оксфорда на континент, — бежал в агонии ужаса и стыда.

Тщетно бежал я. Моя злая судьба преследовала меня с какой-то бешеной радостью, доказывавшей, что её таинственная власть только начинала осуществляться. Не успел я осмотреться в Париже, как уже получил ясное доказательство, что этот Вильсон продолжает мешаться в мои дела. Прошли годы, а я не знал минуты покоя. Негодяй! — как некстати и с какой адской назойливостью он становился между мною и моими честолюбивыми замыслами в Риме! В Вене — тоже, и в Берлине, и в Москве! Где только не приходилось мне проклинать его всем сердцем? От его неизъяснимой тирании я бежал, как от чумы, в паническом ужасе, на край света — но тщетно бежал я.

Снова и снова, в тайной беседе с самим собою, я спрашивал: «Кто он?.. откуда?.. что ему нужно?..» Но ответа не было. Я разбирал до мельчайших

подробностей приёмы, способы, основные черты этого наглого вмешательства. Но тут было немного материала для заключений. Правда, я заметил, что в последнее время он становился мне поперёк дороги только в тех случаях, разрушал только такие планы, мешал только таким действиям, осуществление которых могло бы привести к самым худым последствиям для меня. Слабое оправдание для власти, так нагло захваченной! Слабая награда за такое упорное, оскорбительное нарушение естественного права самодеятельности!

Я не мог не заметить также, что мой мучитель (продолжая до мелочей и с изумительною точностью подражать моему облику) ухитрялся являться так, что я ни разу не видел его лица. Кто бы он ни был — это, во всяком случае, было с его стороны чистое издевательство или глупость. Не мог же он предположить, что я не узнаю в итонском госте, явившемся ко мне с угрозой, в оксфордском незнакомце, погубившем мою честь, в том, кто уничтожил мои честолюбивые планы в Риме, мои мстительные замыслы в Париже, мою страстную любовь в Неаполе, мои попытки обогащения в Египте, — что я не узнаю в нём, моём лютом враге и злом гении, Вильяма Виль-

сона школьных дней — моего однофамильца, товарища, ненавистного и страшного соперника в школе доктора Бренсби? Невозможно. Но поспешим перейти к последней и важнейшей сцене этой драмы.

До сих пор я беспрекословно подчинялся его власти. Чувство глубокого почтения к возвышенному характеру, величавой мудрости, кажущемуся всемогуществу и вездесущию Вильсона в связи с ужасом, который внушали мне некоторые другие черты его характера и притязаний, до того потрясали меня, что, убеждённый в своей слабости и беспомощности, я с отвращением, с горечью, но беспрекословно покорялся его воле. Но в последнее время я без удержу предался вину, и его влияние в соединении с моим наследственным темпераментом заставляли меня всё сильнее и сильнее возмущаться этим контролем. Я начинал роптать… медлить… сопротивляться. Было ли это на самом деле или мне только казалось, что с укреплением моей воли ослабевала воля моего мучителя. Не знаю, но надежда загорелась в моём сердце, и я лелеял в мыслях твёрдое и отчаянное намерение отделаться от этого рабства.

Во время карнавала 18… года в Риме я был на

маскараде в палаццо неаполитанского герцога Ди Бролио. Я выпил больше, чем обыкновенно, и духота переполненных гостями комнат раздражала меня выше меры. Давка и толкотня ещё усиливали это раздражение; тем более что я отыскивал (не стану говорить, с каким недостойным умыслом) молодую, весёлую красавицу, жену старого, выжившего из ума Ди Бролио. Она сама, с недвусмысленной откровенностью, заранее описала мне свой костюм. Заметив его наконец, я поспешил к ней. В эту минуту чья-то рука опустилась на моё плечо, и вечно памятный, низкий, проклятый шёпот раздался в моих ушах. Вне себя от бешенства я обернулся и схватил моего гонителя за ворот. Как я и ожидал, на нём был такой же костюм, как на мне: голубой бархатный испанский плащ, опоясанный пунцовым шарфом, на котором висела шпага. Чёрная шёлковая маска закрывала его лицо.

— Мерзавец! — прошипел я, задыхаясь от злобы и чувствуя, что каждый слог, который я произношу, усиливает моё бешенство. — Мерзавец! предатель! гнусный негодяй! ты не будешь, — нет, ты не будешь преследовать меня до смерти! Следуй за мной или я заколю тебя на месте! — и я бросился, увлекая за собой врага из залы в сосед-

нюю комнату.

Там я с бешенством отшвырнул его от себя. Он ударился о стену, а я с ругательством запер дверь и потребовал, чтобы он обнажил шпагу. Он помедлил с минуту, слегка вздохнул и молча приготовился к защите.

Поединок был непродолжителен. Воспламенённый бешенством, я чувствовал в своей руке ловкость и силу тысячи бойцов. В одну секунду я загнал его к стене и, поставив в безвыходное положение, со зверской жестокостью вонзил ему шпагу в грудь — потом ещё и ещё.

В эту минуту кто-то постучал в дверь. Я опомнился и поспешил к умирающему противнику. Но может ли человеческий язык передать изумление, ужас, охватившие меня при виде того, что внезапно предстало передо мною? Когда я обернулся к двери, странная перемена произошла в комнате. Огромное зеркало — так, по крайней мере, казалось мне, — которого я не замечал раньше, стояло передо мною; и по мере того, как я приближался к нему вне себя от ужаса — моё собственное отображение, только с бледными и окровавленными чертами, шло мне навстречу неровным и неверным шагом.


ПОЕДИНОК БЫЛ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЕН. ВОСПЛАМЕНЁННЫЙ БЕШЕНСТВОМ, Я ЧУВСТВОВАЛ В СВОЕЙ РУКЕ ЛОВКОСТЬ И СИЛУ ТЫСЯЧИ БОЙЦОВ.

Так мне казалось, но не так было на самом деле. Это мой противник, Вильсон, был передо мною в последней агонии. Его маска и плащ лежали на полу, там, где он бросил их. Каждая мелочь в его костюме, каждая черта в его выразительном и странном лице — до полного, абсолютного тождества — были мои собственные.

Это был Вильсон, но он говорил таким неслышным шёпотом, что мне легко было думать, что я сам произнёс:

— Ты победил, и я сдаюсь! Но отныне ты тоже умер — умер для Мира, для Небес, для Надежды! Во мне ты существовал — и убедись по этому образу, твоему собственному, что моей смертью ты убил самого себя.

Лягушонок

Я в жизни своей не знавал такого шутника, как этот король. Он, кажется, только и жил для шуток. Рассказать забавную историю, и рассказать её хорошо, — было вернейшим способом заслужить его милость.

Оттого и случилось, что все его семь министров славились как отменные шуты. По примеру своего короля, они были крупные, грузные, жирные люди и неподражаемые шутники.

Толстеют ли люди от шуток, или сама толщина располагает к шутке — этого я никогда не мог узнать доподлинно, но, во всяком случае, худощавый шутник — rara avis in terris[99].

Король не особенно заботился об утончённости, или, как он выражался, о «духе» остроумия. В шутке ему нравилась главным образом широта, и ради неё он готов был пожертвовать глубиною. Он предпочёл бы «Гаргантюа» Рабле «Задигу» Вольтера, и, в общем, ему больше нравились смешные выходки, чем словесные остроты.

В эпоху, к которой относится мой рассказ, про-

---

[99] Примечания: 99
Редкая птица *(лат.)*.

фессиональные шуты ещё не перевелись при дворах.

В некоторых великих континентальных «державах» имелись придворные дураки, носившие пёстрое платье и колпак с погремушками и обязанные отпускать остроты по первому требованию за объедки с королевского стола.

Разумеется, и наш король держал при своей особе дурака. Правду сказать, он чувствовал потребность в некоторой дозе глупости, хотя бы только в качестве противовеса к утомительной мудрости семи премудрых министров, не говоря уже о его собственной.

Однако его дурак — то есть профессиональный шут — был не только дурак. В глазах короля он имел тройную цену, потому что был и карлик и калека. Карлики при тогдашних дворах были явлением столь же обычным, как и дураки; и многие короли не знали бы, как скоротать время (а время при дворе тянется томительнее, чем где-либо), не будь у них возможности посмеяться над шутом или карликом.

Но, как я уже заметил, шутники в девяноста девяти случаях из ста тучны, пузаты и неповоротливы, — ввиду этого наш король немало радовался тому, что в лице Лягушонка (так звали

шута) обладает тройным сокровищем.

Я не думал, чтоб имя Лягушонок было дано этому карлику восприемниками при крещении, вернее всего, оно было пожаловано ему — с общего согласия семи министров — за его неуменье ходить по-людски.

Действительно, Лягушонок двигался как-то порывисто — не то ползком, не то прыжками; его походка возбуждала безграничное веселье и немало утешала короля, считавшегося при дворе красавцем, несмотря на огромное брюхо и природную одутловатость лица.

Но, хотя Лягушонок мог передвигаться по земле или по полу только с большим трудом, чудовищная сила, которой природа одарила его руки, как бы в возмещение слабости нижних конечностей, позволяла ему проделывать изумительные штуки, когда можно было уцепиться за ветки или верёвки или надо было куда-нибудь взобраться. В таких случаях он больше походил на белку или обезьянку, чем на лягушку.

Я не знаю хорошенько, откуда был родом Лягушонок. Во всяком случае, из какой-то варварской страны, о которой никто не слышал и далёкой от двора нашего короля. Лягушонок и молодая девушка, почти такая же карлица, как он (но

удивительно пропорционально сложённая и превосходная танцовщица), были оторваны от своих родных очагов и посланы в подарок королю одним из его непобедимых генералов.

Немудрено, что при таких обстоятельствах между двумя маленькими пленниками возникла тесная дружба.

В самом деле, они вскоре сделались закадычными друзьями. Лягушонок, который, несмотря на свои шутки, отнюдь не пользовался популярностью, не мог оказать Трипетте больших услуг, но она благодаря своей грации и красоте пользовалась большим влиянием и всегда готова была пустить его в ход ради Лягушонка.

Однажды, по случаю какого-то важного события — какого именно, не помню, — король решил устроить маскарад; а всякий раз, когда при нашем дворе устраивался маскарад или что-нибудь в этом роде, Лягушонку и Трипетте приходилось демонстрировать свои таланты. Лягушонок был очень изобретателен по части декораций, новых костюмов и масок, так что без его помощи решительно не могли обойтись.

Наступил вечер, назначенный для этого fête[100].

---

[100] Примечания: 100
Праздник *(франц.)*.

Роскошная зала была убрана, под надзором Трипетты, всевозможными эмблемами, способными придать éclat[101] маскараду. Весь двор томился в лихорадке ожидания.

О масках и костюмах всякий сам позаботился заранее. Многие приготовили их (в согласии с теми ролями, которые решили взять на себя) за неделю, за месяц; на этот счёт ни у кого не было колебаний, кроме короля и семи министров.

Почему они медлили, я не могу объяснить, — разве что для шутки, но, вернее, затруднялись придумать что-либо вследствие своей толщины. Однако время уходило, и в конце концов они послали за Лягушонком и Трипеттой.

Когда маленькие друзья явились на зов короля, он сидел со своими министрами в зале совета за бутылкой вина, но, казалось, был в очень дурном расположении духа.

Он знал, что Лягушонок не любит вина, так как вино доводило бедного калеку почти до безумия, а безумие совсем не приятно. Но король любил подшутить и потому заставил Лягушонка (как выразилось его величество) «пить и веселиться».

— Поди сюда, Лягушонок, — сказал он, когда

---

[101] Примечания: 101
Блеск *(франц.)*.

шут и его подруга вошли в комнату, — осуши этот стакан за здоровье своих отсутствующих друзей (Лягушонок вздохнул) и помоги нам своей изобретательностью. Нам нужны костюмы, костюмы, слышишь, малый, — что-нибудь новое, небывалое. Нам наскучило одно и то же. Ну же, пей! Вино прочистит тебе мозги.

Лягушонок попытался было ответить шуткой на любезности короля, но испытание оказалось слишком трудным.

Был как раз день рождения бедного карлика, и приказание выпить за здоровье «отсутствующих друзей» вызвало слёзы на его глазах. Тяжёлые горькие капли закапали в кубок, когда с поклоном шут принял его из рук тирана.

— А! Ха! ха! ха! — загоготал последний, когда карлик с отвращением осушил кубок. — Вот что значит стакан хорошего вина! Сразу глаза заблестели!

Бедняга! Его глаза скорее засверкали, чем заблестели, потому что действие вина на его легко возбуждаемый мозг было сильно и мгновенно. Судорожным движением он поставил кубок на стол и обвёл присутствующих уже полубезумным взглядом. Все, по-видимому, находили королевскую «шутку» крайне забавной.

— А теперь к делу, — сказал первый министр, человек очень тучный.

— Да, — подтвердил король, — помоги же нам, Лягушонок! Нам нужны характерные костюмы, милый мой! Нам всем не хватает характера, всем — ха! ха! ха! — И так как он всерьёз считал это удачной шуткой, то все семеро принялись вторить его хохоту.

Лягушонок тоже засмеялся, но слабым и довольно бессмысленным смехом.

— Ну же, ну, — сказал король нетерпеливо, — неужели ты не можешь ничего придумать?

— Я стараюсь придумать что-нибудь новое, — ответил карлик почти бессознательно, так как вино совершенно затуманило ему голову.

— Стараешься? — воскликнул король с гневом. — Это ещё что? А, понимаю! Тебе грустно оттого, что ты мало выпил. На, пей ещё. — С этими словами он снова наполнил кубок до краёв и протянул калеке, который только смотрел на него, с трудом переводя дух.

— Пей же, говорят тебе, — гаркнуло чудовище, — или, клянусь всеми чертями…

Карлик медлил. Король побагровел от гнева. Придворные ухмылялись. Трипетта, бледная, как мертвец, приблизилась к трону короля и, упав на

колени, умоляла пощадить её друга.

В течение нескольких мгновений тиран глядел на неё вне себя от изумления. Он просто растерялся, не зная, как лучше выразить своё негодование по случаю такой дерзости. Наконец, не проронив ни слова, он оттолкнул её изо всех сил и выплеснул ей в лицо содержимое кубка.

Бедная девушка кое-как оправилась и, не смея дохнуть, вернулась на своё место в конце стола.

Наступило гробовое молчание, продолжавшееся с полминуты; можно было услышать падение листка или пушинки. Тишина была прервана тихим, но резким и продолжительным скрежетом, который, казалось, раздавался изо всех углов комнаты.

— Что, что, что это за звук? Как ты смеешь скрежетать? — спросил король с бешенством, поворачиваясь к карлику.

По-видимому, опьянение последнего в значительной степени прошло; он спокойно и твёрдо взглянул на короля и воскликнул:

— Я? Да разве это я?

— Звук идёт как будто снаружи, — заметил один из придворных. — Должно быть, это попугай, что висит в клетке за окном, вздумал точить клюв о прутья.

— Правда, — отвечал монарх, успокоенный этим замечанием, — но я готов был поклясться честью рыцаря, что скрипел зубами этот бездельник.

Тут карлик рассмеялся (король был слишком признанным шутником, чтобы рассердиться на чей-либо смех), обнаружив ряд огромных, сильных и безобразных зубов. Мало того, он изъявил готовность пить сколько угодно. Монарх угомонился; и Лягушонок, осушив ещё кубок без всяких заметных последствий, тут же с жаром приступил к обсуждению вопроса о маскараде.

— Не могу вам объяснить, в силу какой связи идей, — заметил он совершенно спокойно, точно и не прикасался к вину, — но сейчас же после того, как ваше величество ударили девушку и плеснули ей в лицо вином, — сейчас же после того и в ту самую минуту, когда попугай так странно заскрежетал клювом, мне вспомнилась чудесная забава, очень принятая на моей родине, на наших маскарадах, но совершенно неизвестная здесь. К несчастью, для неё требуется восемь человек, и…

— Да вот они! — воскликнул король, радуясь своей остроумной выдумке. — Ровнёхонько восемь — я и мои семь министров. Продолжай! Какая же это забава?

— Мы называем её, — отвечал калека, — «Восемь орангутангов в цепях». И если хорошо разыграть, то зрелище получится презабавное.

— Мы разыграем её, — заметил король, приосанившись и опуская веки.

— Главная прелесть игры, — продолжал Лягушонок, — в том, что она пугает женщин.

— Превосходно! — проревели хором монарх и министры.

— Я наряжу вас орангутангами, — продолжал Лягушонок, — предоставьте это мне. Сходство будет так поразительно, что все примут вас за настоящих обезьян и, разумеется, будут страшно испуганы и удивлены.

— О, это великолепно! — воскликнул король. — Лягушонок, я награжу тебя по-королевски.

— А цепи своим бряцанием ещё увеличат суматоху. Будет пущен слух, что все вы убежали от своих сторожей. Ваше величество может себе представить, какой эффект произведёт появление на маскараде восьми орангутангов, которых публика примет за настоящих, когда они бросятся с диким визгом в толпу разряженных дам и кавалеров. Контраст получится бесподобный.

— Так и сделаем, — сказал король.

Было уже поздно, и потому совет немедленно

принялся приводить в исполнение выдумку Лягушонка.

Средства, с помощью которых он хотел нарядить всю компанию орангутангами, были очень примитивны, но вполне годились для целей Лягушонка. В то время животные, о которых идёт речь, редко привозились в цивилизованные страны; и так как костюмы, придуманные карликом, придавали наряженным в них действительно звероподобный и достаточно отвратительный вид, то публика могла принять их за настоящих обезьян.

Прежде всего король и министры надели трико в обтяжку. Затем их вымазали дёгтем. Один из них посоветовал употребить перья, но это предложение было отвергнуто карликом, который убедил всех восьмерых, что для шерсти такого зверя, как орангутанг, лучше всего воспользоваться пенькой. Густой слой пеньки был налеплен на дёготь.

Затем достали длинную цепь. Сначала её обвили вокруг талии короля и заклепали, потом вокруг талии одного из министров и тоже заклепали, — и так далее, пока не сковали друг с другом всех. Когда все ряженые были соединены цепью, то, став как можно дальше друг от друга

— насколько позволяла цепь, — они образовали круг. Дабы усилить правдоподобие, Лягушонок натянул оставшийся конец цепи поперёк круга, крест-накрест, как делают в наше время охотники, занимающиеся ловлей шимпанзе и других крупных пород обезьян на Борнео.

Большая зала, предназначенная для маскарада, была высокая и круглая, с единственным окном в потолке. Ночью (зала предназначалась преимущественно для ночных увеселений) она освещалась огромной люстрой, висевшей на цепи, прикреплённой в центре окна. Люстру, как обычно, поднимали и опускали с помощью блока, но последний, чтобы не портить вид залы, находился снаружи здания.

Убранство залы было поручено Трипетте, хотя в некоторых частностях она, очевидно, пользовалась указаниями своего более изобретательного друга-карлика. По его совету люстра была снята.

Восковые свечи (которые не могли не таять при такой жаре) причинили бы серьёзный ущерб роскошным костюмам гостей, ибо в зале было так тесно, что середина её, прямо под люстрой, тоже не осталась бы пустой.

Взамен люстры в различных местах залы — так, чтобы не мешать публике, — были поставлены

канделябры, а в правой руке каждой кариатиды — их было пятьдесят или шестьдесят, высившихся вдоль стен, — укреплён был благовонный факел.

Восемь орангутангов, по совету Лягушонка, терпеливо дожидались полуночи (когда зала наполнится гостями).

Но лишь только затих бой часов, они разом ворвались, или, скорее, вкатились в залу, ибо из-за цепи все они спотыкались и падали.

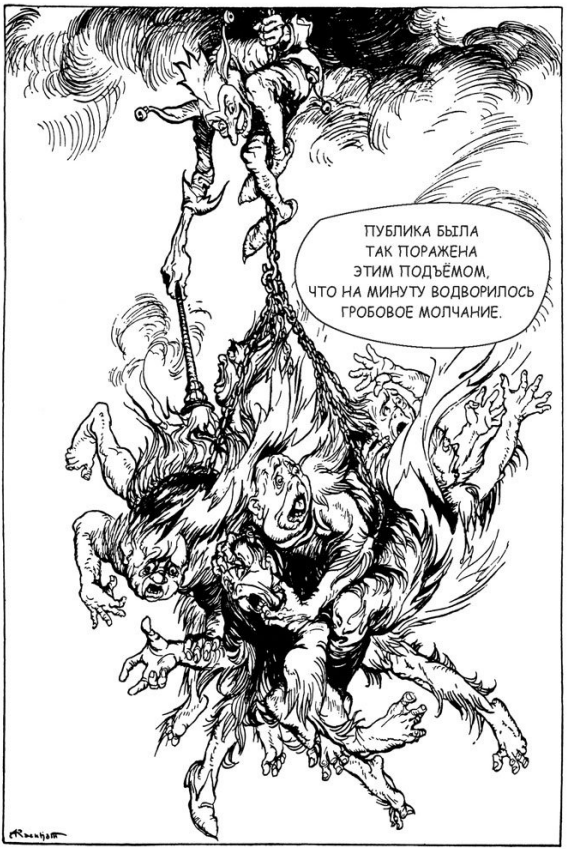
Переполох среди гостей был страшный и привёл короля в восторг. Как и ожидали, большинство гостей приняло ряженых если не за орангутангов, то, во всяком случае, за каких-то настоящих зверей. Многие дамы попадали в обморок, и, если бы король не запретил являться на маскарад с оружием, весёлая компания могла бы поплатиться жизнью за свою проказу. Все тут же кинулись к выходу, но король заранее приказал замкнуть двери, едва ряженые войдут в залу, а карлик предложил отдать ключи ему.

Когда суматоха достигла крайней степени и каждый думал только о своём спасении (так как давка, начавшаяся среди обезумевшей толпы, действительно угрожала опасностью), цепь, на которой висела люстра и которая была поднята к

потолку, мало-помалу опустилась так, что конец её, загнутый в виде крюка, оказался на расстоянии трёх футов от пола.

Вскоре после этого король и его семеро товарищей, кружившие по залу, в конце концов очутились на её середине, под самой цепью.

Лишь только они очутились здесь, карлик с молниеносной быстротой подцепил их крюком в том месте, где пересекались две поперечные цепи. В ту же минуту какая-то невидимая сила подняла цепь от люстры и вместе с нею орангутангов, повисших рядком, лицом к лицу.


ПУБЛИКА БЫЛА
ТАК ПОРАЖЕНА
ЭТИМ ПОДЪЁМОМ,
ЧТО НА МИНУТУ ВОДВОРИЛОСЬ
ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ.

Тем временем гости несколько оправились от первого испуга и, сообразив, что это только ловко разыгранная шутка, захохотали при виде комического положения обезьян.

— Предоставьте их мне, — завизжал Лягушонок, покрывая своим пронзительным голосом даже эту суматоху. — Предоставьте их мне. Кажется, я знаю их! Дайте только взглянуть на них, и я скажу вам, кто они!

Тут он пробрался по головам зрителей к стене, выхватил факел у одной из кариатид, вернулся обратно, прыгнул с ловкостью обезьяны на голову королю, вскарабкался по цепи и, очутившись над орангутангами, осветил их факелом, продолжая восклицать:

— Сейчас я узнаю, кто они!

Внезапно, когда толпа и сами орангутанги помирали со смеху, он пронзительно свистнул — и цепь быстро поднялась футов на тридцать, увлекая за собой испуганных, барахтавшихся обезьян, повисших между полом и потолком. Лягушонок, поднимавшийся вместе с цепью, оставался на прежнем расстоянии от восьми ряженых и по-прежнему (будто ничего не случилось) освещал их факелом, точно старался рассмотреть, кто они.

Публика была так поражена этим подъёмом, что на минуту водворилось гробовое молчание.

Оно было нарушено тихим, резким, скрежещущим звуком — таким же, как тот, что поразил слух короля и его министров, когда король выплеснул вино в лицо Трипетте. Но теперь нечего было и спрашивать, откуда он исходит.

Его издавали страшные зубы карлика, который с пеной у рта скрипел и скрежетал ими, устремив бешеный взгляд на обращённые вверх лица короля и его семи министров.

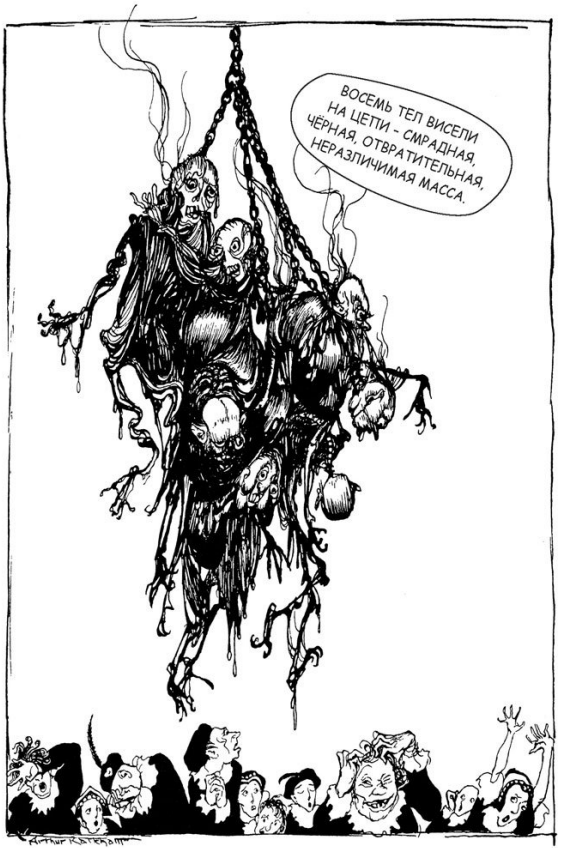
— Ха, ха! — захохотал вдруг разъярённый шут. — Ха! Ха! Я начинаю узнавать этих людей!

Тут, как бы желая получше рассмотреть короля, он поднёс факел к его пеньковой одежде, и она мгновенно вспыхнула ярким пламенем. Не прошло и минуты, как все восемь орангутангов уже пылали — при криках толпы, которая в ужасе смотрела на них снизу, бессильная оказать им какую-либо помощь.

Усиливавшееся пламя заставило карлика взобраться повыше, и, пока он поднимался по цепи, толпа опять на мгновение смолкла. Воспользовавшись этим, карлик снова крикнул:

— Теперь я вижу ясно, что за люди — эти ряженые. Это великий король и его семь советников!

Король, который не постыдился ударить беззащитную девушку, и семь его советников, которые одобрили эту выходку! А я — я просто Лягушонок, шут, и это моя последняя шутка.


ВОСЕМЬ ТЕЛ ВИСЕЛИ НА ЦЕПИ - СМРАДНАЯ, ЧЁРНАЯ, ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ, НЕРАЗЛИЧИМАЯ МАССА.
Arthur Rackham

Пенька и смола воспламеняются быстро, и мщение карлика завершилось прежде, чем он успел докончить свои слова. Восемь тел висели на цепи — смрадная, чёрная, отвратительная, неразличимая масса. Калека швырнул в них факел, взобрался по цепи на потолок и исчез в окне наверху.

Полагают, что Трипетта, находившаяся на крыше, помогала своему другу в его огненной мести и что они бежали на родину, так как с тех пор их никто не видел.



